A portrait of Nikita Mikhailov, an older man with a mustache, wearing a green bucket hat, sunglasses, and a light-colored striped shirt. He is holding a walkie-talkie to his mouth and smiling. A watch is visible on his left wrist. The background is blurred, suggesting an outdoor setting.

Автобиография

**Никита
МИХАЛКОВ**
Территория
моей любви

Никита Сергеевич Михалков

Территория моей любви

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10143239

Территория моей любви / Никита Михалков: Эксмо; Москва; 2015

ISBN 978-5-699-68930-9

Аннотация

Книга знаменитого режиссера и актера Никиты Михалкова – замечательный пример яркой автобиографической прозы. Частная жизнь и творчество сплетены здесь неразрывно. Начав со своей родословной (в числе предков автора – сподвижники Дмитрия Донского и Ермака, бояре Ивана Грозного и Василий Суриков), Никита Михалков переходит к воспоминаниям о матери, отце – авторе гимна СССР и новой России. За интереснейшей историей отношений со старшим братом, известным кинорежиссером, следует рассказ о своих детях – Ане, Наде, Степане, Артеме.

Новые, порой неожиданные для читателя грани в судьбе автора открывает его доверительный рассказ о многих эпизодах личной жизни. О взаимном чувстве и драматическом разрыве с Анастасией Вертинской и о Любви на всю жизнь к своей жене Татьяне. О службе в армии на Тихом океане и Камчатке... И конечно же, о своих ролях и режиссерских работах.

Содержание

Корневая система	6
Родословная	7
Кто такие Кончаловские	24
Мне повезло с матерью...	30
Отец	45
Встреча советского руководства с интеллигенцией	60
Дядя Миша	66
Детские годы	71
География детства	71
Веревочки	77
О воспитании	80
Йод	86
Детская вера	87
Учеба в школе	90
Первые влюбленности	93
Выпускной экзамен	99
Брат	102
Институты	111
«Никогда не возникало вопроса, кем я стану...»	111
Режиссуре я учился у Михаила Ильича Ромма	117
Анастасия Вертинская	129

Тихоокеанская служба	151
«Я давал присягу...»	151
«Итак, я должен был идти в армию...»	154
Борьба за смирение	164
Ледяной поход	171
Конец ознакомительного фрагмента.	176

Никита Михалков

Территория моей любви

Издание подготовлено при участии редакционно-издательского центра «АРИАДНА»

Фотография Н. Михалкова на обложке *С. Короткова*

Литературный редактор *М. Крупин*

© Михалков Н., 2015

© Озеров И., оформление, 2015

© Киноконцерн «Мосфильм» (Кадры из фильма)

© Киноконцерн «Мосфильм» (Фотографии)

© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Корневая система

Во мне никогда не исчезало чувство происхождения. Даже тогда, когда я не понимал, что оно существует. Я ощущал его как шум жизненных соков в дереве. Будто наведенные токи какие-то, источник которых – в далекой дали.

Мама, отец, дед, вся жизнь рода в веках... это корневая система, которая удерживает твои ветви, и ты можешь обращаться ими в любую сторону света.

Наверное, это и есть иммунитет... Это очень важно. Ты знаешь, что можешь гнуться под переменчивым ветром, и леденеть в зимнюю стужу, и даже отлетать по осени желтым листом.

Но *это главное* всегда с тобой. Ты знаешь, что ты есть. И ты не один.

Родословная

Все мы сравнительно недавно стали интересоваться своей родословной. Были и такие времена, когда для многих лучше было если не вовсе забыть о ней, то, во всяком случае, помалкивать. И отец мой особо не распространялся на эту тему. Надо признаться, что такая осмотрительность в определенной степени уберегла нашу семью. Мой дед по отцу, потомственный дворянин и наследник поместий в Московской, Костромской и Ярославской губерниях, Владимир Александрович Михалков, – грешно так говорить, хотя, по сути, верно – вовремя умер, иначе не избежать бы всем репрессий.

Но родной брат отца, побывавший в немецком плену и неоднократно бежавший, все же был после войны осужден и сослан в лагерь. Хотя по сравнению со многими тысячами безвинно осужденных ему повезло – из лагеря вернулся.

* * *

Род наш восходит к едва различимому горизонту российской истории. Одна только семейная переписка сохранилась в архивах за триста лет... Недавно знакомый историк сообщил мне, что двое моих пращуров участвовали в Куликовской битве. И между прочим, оба выжили.

Мои предки по отцу – выходцы из Литвы. Недавно мне

принесли духовные завещания предков (по линии Михалковых) времен Ивана Грозного. Такие трогательные бумаги!.. Что кому отписать: кому саблю такую-то, а этому корову, шкуры какие-то. А тот еще остался предку должен две штуки сукна. Посему требовалось «испросить все должное». Допустим, если кто-то задолжал деньги, то можно, например, отдать коровой... В общем, все весьма серьезно.

Я держал в руках грамоту, в коей первый царь из династии Романовых, Михаил Федорович, даровал земли боярину Михалкову, своему троюродному брату и постельничему.

В Ярославле мой прапрадед Михалков был последним предводителем дворянства. И практически все Михалковы были Сергеи и Владимиры.

В нашем роду было много воевод. Вероятно, по наследству и мне достался «воинский мозг». **Когда ситуация накаляется, будто шампанское начинает пениться в крови.** И это вызывает во мне веселое, лихое ощущение боя. Если бы не существовало режиссерской профессии (вообще исключив такие области, как искусство и спорт), я наверняка стал бы военным. Или адвокатом, ибо это тоже единоборство с большой прокурорской, судейской силой.



В кругу семьи. 1954 г.

Верхний ряд (слева направо): Е. Семенова (дочь Н. П. Кончаловской от первого брака), Н. П. Кончаловская, сын М. П. Кончаловского Алексей, жена М. П. Кончаловского Эсперанса, М. П. Кончаловский, Андрей Михалков-Кончаловский.

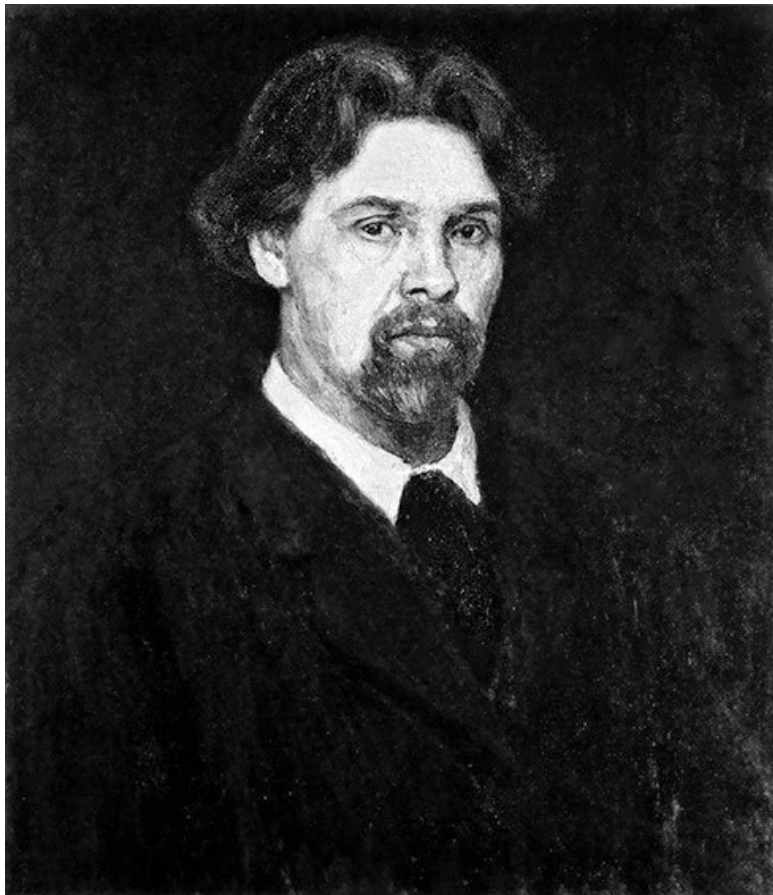
Нижний ряд (слева направо): дочь М. П. Кончаловского Маргот, жена П. П. Кончаловского Ольга Васильевна, П. П. Кончаловский, сын М. П. Кончаловского Лаврентий, Никита Михалков, С. В. Михалков

По маминой линии были в основном разночинцы.

Был знаменитый врач, был историк. Мамин отец, Петр Петрович Кончаловский, – известный художник.

А мамин дед – гениальный русский живописец, Василий Иванович Суриков.

Поэтому география рода по маминой линии – это Сибирь и... Франция. Потому что жена Сурикова была дочерью Огюста Шаре, принадлежавшего к старинному французскому роду.



В. И. Суриков. Автопортрет

Всегда помню о том, что мой знаменитый прадед, несмотря на свою принадлежность к миру «изящных искусств»,

был сибирским казаком. Его предки пришли с Дона в Сибирь с Ермаком в XVI веке. Двоюродный брат его деда, Александр Степанович Суриков, был атаманом Енисейского Казачьего полка. Был он силы непомерной. Как-то в бурю оторвался от берега казачий плот, Александр Степанович бросился в реку, схватил бечеву и, как былинный богатырь, вытащил плот на берег. В его честь назван остров Атаманский на Енисее.

Дед художника, Василий Иванович Торгошин, служил сотником в казачьем войске Туруханска.

К слову, и мой дядька, Петр Петрович Глебов, много ролей сыгравший, в том числе Григория Мелехова в герасимовском «Тихом Доне», тоже из казачьего рода.

И во мне сидит это казачество, я это люблю. Тут все замешано на внутренних, корневых вещах, которые трудно объяснить.

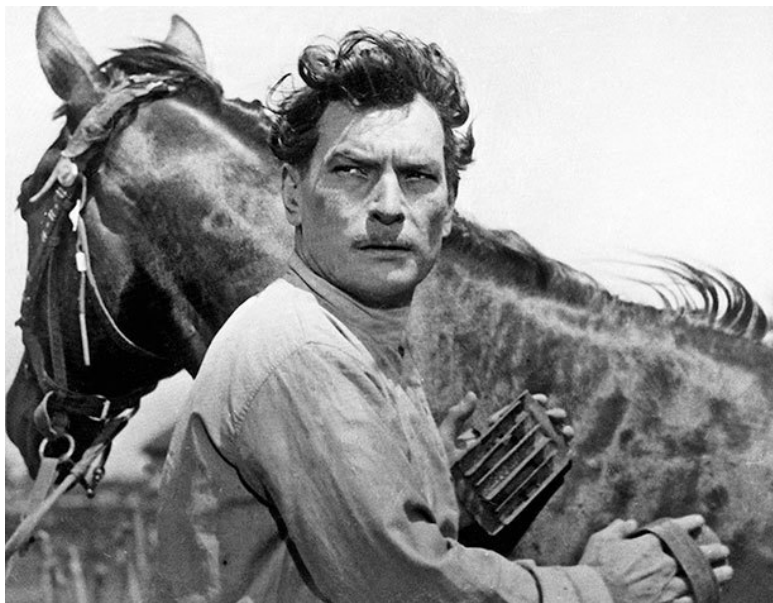


Елизавета Августовна Сурикова (урожденная Шаре), же-

на художника, прабабушка Н. С. Михалкова. 1870-е

Василий Иванович Суриков был человеком крутого нрава – любил или «не выносил», без полутонов. Слово «теплый» он вообще ненавидел (допустим, выражение «теплые отношения»). Говорил: «Теплыми могут быть только помои. Либо горячее, либо холодное; либо души не чаю, либо терпеть не могу!» Это впитала и мама. Она в этом смысле имела сибирский характер – такой же резко континентальный, как красноярский климат. Была, правда, при этом отходчива.

Суриков долгие годы путешествовал по Италии, но нет более русского исторического живописца, чем автор «Боярыни Морозовой» и «Утра стрелецкой казни». Да, в свое время он копировал Веласкеса, Эль Греко, часами простаивал в музее Прадо в Мадриде, но, вернувшись на родину, почему-то писал «Степана Разина», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы» или «Взятие снежного городка».



Петр Глебов в роли Григория Мелехова в фильме «Тихий Дон». 1957 г.

...В первый раз я попал в Дом-музей Василия Ивановича Сурикова в Красноярске «за компанию», вместе с мамой и ее младшим братом, моим дядькой, замечательным художником Михаилом Петровичем Кончаловским. (Он ушел из жизни в возрасте девяности четырех лет, на десять лет пережив мою маму.) Потом, уже осознанно, я сам отправился в этот город и теперь бываю так часто, как только удастся, чтобы заглянуть в дом прадеда.

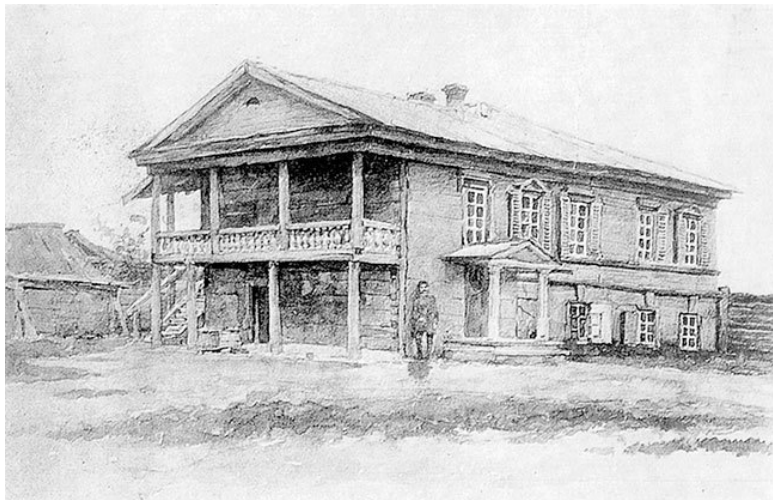
С этим местом связана очень важная для меня история. Перед съемками «Сибирского цирюльника» я попросил у Людмилы Павловны Греченко, директора дома-музея прадеда, разрешения там переночевать. Не знаю почему, но мне казалось, что необходимо побыть наедине с этим домом, где витали духи моих предков, прежде чем скажу заветное слово «мотор» в день начала съемок. **Где же еще, думал я, можно почерпнуть силу духа, мощь темперамента, как не в доме великого русского художника, одного из лучших наших исторических живописцев?**

Ощущение, которое испытал в ту ночь, потрясюще сильное. Не могу объяснить, чего я ждал от этой встречи. Меня положили в комнате брата Василия Сурикова, моего двоюродного прадеда Александра, на которого, говорят, я очень похож. Действительно, в этом нетрудно убедиться, взглядевшись в картину Василия Ивановича «Взятие снежного городка». С правой стороны виден профиль человека с усами – это Александр Суриков.

Поначалу это была жуткая ночь. Дом не принимал меня – кряхтел, вздыхал, стонал... «Кто это? Почему этот человек здесь?» – казалось, думал дом. И я вставал, бродил по темным комнатам, скрипел половицами, вдыхал запахи... Но дом меня не принимал. В столовой я остановился перед иконами в красном углу: они только угадывались в темноте, чуть поблескивая киотами от тусклого света, падавшего на них через окошко.



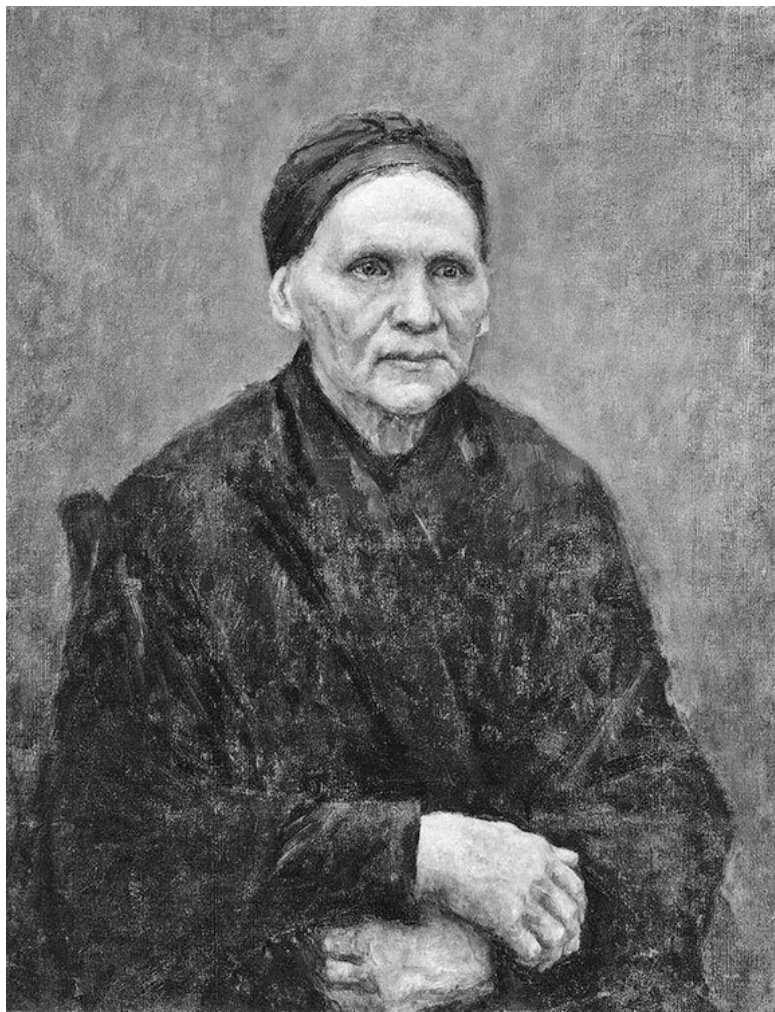
В. Суриков. «Взятие снежного городка» (фрагмент картины)



Таким был дом В. И. Сурикова при жизни художника

Перед иконами угадывалась незажженная лампада. Я нащупал стул покрепче, подставил его к иконостасу. Лампада была сухой и даже, как показалось, с паутиной. Конечно, найти в музее лампадное масло и спички – дело гиблое, я это понимал, но стал искать. Самое удивительное, что я нашел и то и другое. Я заправил лампаду маслом, поправил фитиль и чиркнул спичкой. Теплый свет горящего фитилька мягко осветил древние потемневшие иконы. Казалось бы, ничего особенного в доме не произошло, ничего не изменилось. Но на самом деле изменилось все. Дом наполнился какой-то неведомой жизнью. Свет лампы в углу перед ико-

нами дал ощущение живого дома, полного родных людей, которых сейчас просто нет в этой комнате.



В. И. Суриков. Портрет матери, Прасковьи Суриковой.

1887 г.



В. И. Суриков с Натальей и Михаилом Кончаловскими.
1910-е гг.



В. И. Суриков. Портрет дочери, Ольги Суриковой (бабушки Н. Михалкова). 1888 г.

И тут, что самое поразительное, дом меня принял. Я в этом уверен. Он почувствовал, что я свой, успокоился и даже... словно улыбнулся мне. Я улегся на маленькую жесткую кровать своего двоюродного прадеда и провалился в сон. Было шесть часов утра.

В семь меня разбудили, и, странно, я был бодр, абсолютно спокоен и свеж, словно проспал всю ночь. Горячий чай в доме прадеда, с сибирскими шанюшками – и все: не оглядываясь, без всяких сомнений, я «нырнул» в фильм длиной в три года...

Кто такие Кончаловские

Кончаловские – это прежде всего родовая усадьба, которая своей геометрией, видами из окон, всеми запахами и ощущениями вошла навсегда в мою жизнь. Где бы ни упоминалась усадебная жизнь – у Чехова, Бунина, Толстого, Лескова, Гончарова, Тургенева, – я сразу представляю себе планировку дома, в котором жил дед, мастерскую, где он работал, конюшню, сад...



Дом П. П. Кончаловского, деда Н. Михалкова, в Буграх

Кончаловские – это кринка с горячей водой и брошенным

на дно куском хозяйственного мыла, по которому мы с двоюродным братом водили кисточками – мыли их, а после протирали скипидаром.

Это хамон – испанский окорок, который готовили сами.

Навахи – испанские ножи, очень острые. Их делал дед из лезвия косы.

Кожаные болотные сапоги, засыпанные овсом, чтобы скорее просыхали. Ведь овес вбирает влагу...

* * *

Дом деда в Буграх, под Обнинском. Там не было даже поселка, а просто стоял дом. Дом и огромный сад, где нужно было иметь «все свое», чтобы жить.

То есть дед мой, художник Петр Кончаловский, жил жизнью совершенно помещицкой – создав свой замечательный, практически самодостаточный мир. Охота на зайцев, на уток...

Там не было электричества (и до сих пор там нет электричества). Керосиновые лампы, куры, свиньи, корова... Запах копченых окороков и антоновских яблок, скрип половиц, постоянный запах краски, ведь дед – живописец...

Вечернее сидение за фортепьяно с керосиновой лампой, когда дед играл Моцарта, читал наизусть Пушкина целыми страницами, пел арии из любых опер. (Он был, я бы сказал, возрожденческого дарования и интересов человек.)

Его огромная рука, в которой умещалась вся моя детская попка, когда он на этой руке поднимал меня вверх...



Художник Петр Петрович Кончаловский, дед Никиты Михалкова по линии матери

Остались запахи, ощущения этого дома. По сути, этот Дом деда – прообраз всех усадеб, которые появлялись затем в моих фильмах. Декорация на все времена!

Хлебосолье, знаменитая «кончаловка», рецепт которой был придуман дедом. Нарезаемый навахой испанский хамон.

До сих пор я чувствую запах *тех самых* антоновских яблок осенью в *том* деревянном доме, когда их складывали на зиму...

* * *

Помню, как дед писал мой портрет. Меня ели комары, мухи, но я позировал с детской стойкостью...

Это была естественная жизнь в большом семействе с сильной корневой системой. Я долго не мог понять, почему на меня изумленно смотрит класс, когда я утром честно признаюсь учительнице, что опоздал, потому что Рихтер играл на пианино до трех часов ночи и не давал спать. Я не понимал, что в этом особенного?

Ведь в застольных воспоминаниях у нас такие имена витали, что мало не покажется: Сережа Рахманинов, Паша Васильев...

Велимир Хлебников, по рассказам мамы, спал у нас на ро-

яле, а Маяковского бабушка спустила с лестницы, сказав, что отказывает ему в доме. И все это казалось естественным.

К счастью, дедова дача в Буграх до сих пор осталась за семьей. Там долго жил его сын – художник Михаил Кончаловский. Когда я писал первые из этих страниц, он был еще жив.

Мне повезло с матерью...

С возрастом я все больше стал понимать, какое важное значение в моей жизни имела мама. Не знаю, понимала ли она сама это свое значение для меня. Думаю, нет. А я тем более. Теперь изумляюсь ее мудрости, простоте, покоряющей естественности.

Благодаря моему отцу мама имела возможность жить так, как она хотела, – то есть прежде всего хранить дом и его традиции. Поэтому, к счастью, мы с братом воспитывались в совершенно иных условиях, чем многие наши сверстники.

В нашем доме никогда не было места яркой партийности, столь обыкновенной тогда во многих других семьях, что уберегло нас с братом от «воспитания на ненависти».

Невольно я впитывал все то доброе и созидательное, что несет в себе русская культура... Картины Кончаловского... Фортепьянные импровизации уже упомянутого Рихтера... К нам ходили писатели... А когда-то и Шалапин заходил к Кончаловским за компанию с Рахманиновым... Всех их знала моя мама, дружила с ними и называла на «ты».

И все это носило характер естественной ауры.

* * *



Наталья Кончаловская. 1950 г.

Мама на десять лет старше отца. Она никогда не вступала в партию, всегда ходила в храм Божий, у нее был духовник, дома висели иконы. Если возникали «вопросы», отец говорил, обаятельно заикаясь, начальству: «Ну что вы хо-хо-тите, она 1903 го-о-да рождения. Ей уже че-че-тырнадцать лет было, когда революция совершилась!»

Благодаря маме исповедь и причастие для меня были естественной частью жизни. Хотя головой я понимал, что в Советском Союзе это редчайшее исключение, и был очень осторожен. Помню очень стыдную для меня историю, случившуюся на Пасху. Мне было тогда лет двенадцать-тринадцать. В храме ко мне кто-то подошел и тихо на ухо сказал: «Крестимся-то под пиджачком!» Это была правда. Я потом долго не мог отойти от обидного стыда. Хотя вместе с тем было тогда такое сладкое чувство... почти катакомбного христианства.

* * *

Мама учила: «Если тебе что-то катится в руки просто так и ты без всяких затрат можешь протянуть руку и взять, подумай, сколько из десяти людей от этого не отказались бы. Если насчитаешь больше пяти, откажись. Идти надо в узкие ворота». Или: «Никогда не выгребай все до конца, чтобы

не слышать, как скребок коснулся днища».

Именно эта мысль отвела соблазн после успеха «Механического пианино» сразу снимать опять что-то из Чехова. Хотя уже предлагали. Но, поняв, что использование вчерашних открытий и удачных наработок может превратить их в штамп, мы отказались. К Антону Павловичу мы с Сашей Адабашьяном вернулись, когда остались позади еще четыре киноленты. Только тогда по мотивам «Дамы с собачкой» был написан сценарий «Очей черных».

Еще мама учила: «Никогда не обижайся! Если тебя хотели обидеть, не доставляй удовольствия тому, кто этого хотел, а если не хотели, то всегда можно простить».

Она родила меня достаточно поздно – ей было сорок два года, и я помню ее уже в зрелом возрасте. Но всегда, до последних дней, ощущалась ее гигантская энергия и неиссякаемая любознательность, тяга к новым знаниям и необходимость этим знанием поделиться. Перфекционизм – это у меня тоже от мамы, я до сих пор его не утерял.



Слева направо: Анна и Артем Михалковы с отцом, за ними Татьяна Михалкова, Наталья Петровна Кончаловская, Андрон Кончаловский, за ним – Егор Кончаловский

Мама всегда была стержнем нашей семьи – человеком с мощным, здоровым, созидательным полем. Ее всегда отличала сильная человеческая закваска, основанная на православном воспитании. При этом мама была человеком страстным во всех проявлениях. Это был властный, вспыльчивый (да отходчивый!) сибирский характер – суриковская, дедушкина кровь. Если ей что-то не нравилось, нужно было приложить огромные усилия, чтобы ее разубедить. Только очень смелый, неожиданный поворот мог пре-

вернуть ее горячее неприятие в столь же страстную любовь, понимание, восхищение...

Я никогда не видел маму ничего не делающей. Никогда!

Ей никогда не бывало скучно. Пишется ли что-то, переводится, правится, шьется, перешивается, вскапывается, сажается, печется, варится, вяжется, настаивается... – всему она отдавалась с невероятной страстью. При этом все, что она делала, было поставлено на основательную, академическую базу – писала ли она подстрочники для оперы или овладевала искусством печь круассаны.

Она лечила гаймориты, делала уколы, даже умела провести тюбаж печени... Узнав что-то новое и убедившись, что это можно сделать без чьей-либо помощи, в домашних условиях, мгновенно все осваивала. Я вспоминаю детские болезни, простуды – все эти компрессы, банки, чай в постель... Как все это обстоятельно, любовно делалось!..

Она обладала колоссальной жизнестойкостью и, где бы ни оказывалась, умела обустроить жизнь по-своему. В больнице ли, в санатории – мгновенно рядом с ней появлялись какие-то дорогие ей шкатулочки, книжки, вязанье, устанавливались свои, родные запахи... Возникал ее мир – ясный, добротный, может быть, не слишком модный, но непременно функциональный, изумительно отлаженный.

Она невольно создавала вокруг себя необычайно притягательную человеческую ауру. Вокруг нее, по самым причудливым орбитам, бесконечно крутились чьи-то невесты, же-

ны, дети, внуки... Дом всегда был полон гостей – художников, музыкантов... Причем это не были «салонные знакомства», но неизменно – друзья.

К примеру, гениальный хирург Вишневский как сосед по даче приходил запросто, в шлепанцах. И очень уважал «кончаловку» – водку, которую мама делала сама, настаивая на смородине (а придумал этот замечательный напиток ее отец, о чем я упоминал раньше).

* * *

...Меня никогда не занимали бытовые подробности чужой жизни. Я никогда не коллекционировал слухи и сплетни, на которые так падка наша богема. Ненавижу перебивание чужих косточек, поскольку сам неоднократно оказывался объектом досужего любопытства.



Наталья Петровна с внучкой Аней

В этом смысле образцом может служить моя мама. Ей много раз звонили и заговорщицким тоном произносили в телефонную трубку: «Знаете, где и с кем сейчас ваш муж?». Она отвечала: «Пожалуйста, больше не набирайте этот номер. Никогда». Не думаю, что маме легко давались внешняя отстраненность и бесстрастность, но говорила она это тихо и спокойно. Может быть, потом у нее с отцом и бывали какие-то «выяснения», но я никогда их не слышал.

Последние двадцать лет она прожила на даче, в Москву приезжала только по необходимости. И все мои друзья, друзья брата – актеры, кинематографисты, литераторы – всегда с радостью принимали приглашение приехать: для них большим душевным удовольствием было само предвкушение встречи с ней.



Наталья Петровна Кончаловская и народная артистка СССР Вера Петровна Марецкая. 1975 г.

В любом человеке – самом простом, безыскусном – она умела рассмотреть то, что ей интересно, и общалась со всеми на равных. И это не была снисходительность, игра в демократию. Она презирала, ненавидела фальшь.

Здоровый уклад жизни семьи Кончаловских не мог не отразиться в мамином характере. Пока хватало сил, она ежедневно делала гимнастику, ходила пешком. Замечательно готовила. Я никогда не видел в раковине грязной посуды...

У мамы был потрясающий вкус. Аскетичный, но очень

тонкий, глубокий. И очень русский – в самом широком и прекрасном смысле этого слова. Это не исключало знания языков (она свободно говорила по-французски, по-английски, по-испански, по-итальянски), не исключало путешествий, но все атрибуты западной культуры она пропускала – как сквозь особенное, драгоценное ситечко – через русское свое восприятие.

Одевалась мама по возрасту и в соответствии со своими представлениями о моде. Никогда не было переизбытка вещей, завала шмоток. Немного, но хорошего качества... Она не принадлежала к типу «женщин-болонок», этаких декоративных дам, предназначенных лишь для того, чтобы ими пользоваться и их одевать. «Дамы с собачками» были ее противоположностью. Она не любила праздных людей, как и праздных животных, которых в домах держат только *для красоты*.

Но такое качество, как созерцательность, ею признавалось безусловно. Скажем, сидеть за чаем и слушать кукушку... Это была «праздность накопления». Праздничность бытия. Которая очень сродни внутренней духовной работе, когда эта граница между работой и праздностью просто незрима... Но только не лень и не скука! Людей, говоривших, что им скучно, она просто уничтожала своей иронией.

* * *

Однажды мама поссорилась с Надей: маме было восемьдесят, а дочке моей – полтора года. Меня поразила та серьезность, с которой они отнеслись к этой ссоре.

Обе начали вести себя совершенно независимо, нарочито не обращая друг на друга внимания, но постоянно старались попадаться друг другу на глаза, чтобы еще раз подчеркнуть свою полную отчужденность. Только вдумайтесь: восемьдесят и полтора. И такой глубокий и искренний «серьез» в отношениях.

* * *

Две старушки гуляют на даче по участку – мама и ее подруга Ева Михайловна. Одной – восемьдесят два года, другой – восемьдесят семь.

Я сижу на веранде, занимаюсь сценарием. Вечер, весна. Кукушка далеко кукует. В прозрачном воздухе ее хорошо, ясно слышно. Что-то меня отвлекает – монотонно повторяющимся звуком. Прислушиваюсь: голос мамы. Она тихо считает: «Двадцать шесть, двадцать семь...»



Н. П. Кончаловская. 1980-е

Потрясающе! Двум этим старым женщинам вместе – сто шестьдесят девять лет, а они стоят и считают кукушку – сколько лет жить осталось... Мама: «Тридцать два, тридцать три...» Что это? Глупость, старческий маразм? Нет, совсем нет. Это вечная надежда, это вера, это жизнь! Это великая

русская сказка, постоянное ожидание чуда.

Еще мне однажды сказала другая русская женщина: «Ты не должен бояться ничего, раскрой объятия и иди навстречу жизни. Пойдешь так бесстрашно, открыто и спокойно – все стрелы мимо пролетят; зажмешься, испугаешься, пойдешь с оглядкой – обязательно в тебя попадут».

* * *

Мама была и до конца оставалась женщиной. Она старела замечательно легко – ни комплексов, ни болезненности. Достоинство во всем и всегда. Даже в преклонном возрасте, когда ей уже было за восемьдесят, я никогда не видел ее небрежно одетой. Если она плохо себя чувствовала, просто никого не приглашала, сознавая, что неважно выглядит.

И даже в последние дни жизни – она находилась в больнице, в реанимации, – оставалась себе верна. Никогда не забуду, как я наклонился над ней, а она, подняв помутневшие глаза, провела рукой по моей щеке и сказала: «Да... Ты бритый, а я нет...» Она имела в виду волоски на подбородке, которые обычно выдергивала, а здесь некому было это сделать. И в такой миг ее волновало, что она может не очень хорошо выглядеть.

Господь послал ей не смерть, а скорее уход. Она прожила счастливую, страстную, наполненную жизнь. Ей было восемьдесят четыре года, она устала и уходила спокойно, до-

стойно...

* * *

Сколько себя помню, помню и ее влияние. Став взрослым, я также неизменно ощущал ее животворящую энергию. Даже если мамы не было рядом.

Я работал, уезжал надолго. Мы могли не видеться месяцами, редко говорили по телефону... Но ее присутствие ощущалось постоянно. Была такая замечательная уверенность, что она есть, — а значит, все хорошо, надежно, прочно.

И сейчас ничего не изменилось. Мама существует в моей жизни. И надеюсь, не только в моей.

И все-таки... Сиротство начинается с потери матерей. Берегите их.

Отец

Уникальность этого человека заключается в том, что у него было совершенно обостренное чувство справедливости. Если он понимал, что творится несправедливость, он мог полезть в любую драку, вступиться даже за совсем незнакомого человека. И ненавидел, когда его как-то хотели отблагодарить. Порою он даже не помнил того или тех, кому он помог или даже спас.

Отец вообще очень легко относился ко многому, что могло кому-то показаться очень серьезным, жизненно важным или даже опасным. У него был великий и легкий талант, и Господь уберег его от тех патовых ситуаций, когда от твоего решения зависит чья-то жизнь. Вот почему, когда раскрылись архивы КГБ и журналисты ринулись искать «компромат», они ничего, к своему разочарованию, не нашли. И в то же время отцу хватило мужества и честности, чтобы уже в 90-е годы написать в книге посетителей дома Сталина в Гори: «Я ему верил, он мне доверял». Он никогда не отрекался ни от чего, что с ним происходило в жизни, и это верный знак того, что он был перед собой честен.

Отец обладал гениальным даром детского поэта, а писать для детей такие легкие, летящие стихи может лишь тот, кто внутри сам ребенок...

Психологически он остался на уровне тринадцатилетне-

го мальчишки. Это говорила еще мама. Дети же относятся к ровесникам не бережно и трепетно, как обычный взрослый к ребенку, а ревниво: «Отдай! Почему ты это взял?..» Отец совершенно в этом смысле такой же – у него никогда в жизни не было с нами вот этого «мур-мур-мур», он терпеть не мог сюсюканья... Так дети могут дружно играть, а через минуту стукнуть друга по голове, но все это не зло, спонтанно и наивно. У него и литература вся из детства: «Я уколов не боюсь, если надо, уколоюсь...», «У меня опять тридцать шесть и пять...»



С. В. Михалков на аэродроме под Севастополем. 1944 г.

А эта уникальная реакция, мгновенная, летящая!..

Его афоризмы разлетались со скоростью невероятной. Он мог в две минуты написать четверостишие по любому, причем самому внезапному, поводу. И ответы его были всегда быстрые и образные. Например, журналисты со свойственным им сарказмом, как бы «наивно» спрашивают: «Скажите, а как так получилось, что вы и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе как-то всегда в порядке?..» Отец (без паузы): «Волга течет при всех властях».

Я всегда говорил, что у него реакция боксера-легковика – стремительная и резкая.

Невероятная личность. Когда его спрашивали про чью-то зависть, говорил: «Пусть лучше завидуют, чем сочувствуют». Вообще чужая зависть сопровождала его всю жизнь. Причем, что важно, с молодых лет. А как не завидовать? Высокий, талантливый, с великолепным юмором, мощной харизмой, да еще и происхождения знатного (хотя тогда об этом вслух не говорилось).

*И все же я поэт, считайте не считайте.
Несите всякий бред, читайте не читайте.
Завидуйте успехам, орденам,
Что почему-то не достались вам.
Шипите, злобствуйте, друзей моих кланя,
Вы с ними не поссорите меня.
Я, к вашему большому сожалению,*

*Не собираюсь с вами воевать.
На вашу ложь, на ваши заявления,
На вас самих мне просто наплевать.
Я проживу положенное мне,
Стараясь не запачкаться в говне.
Когда умру, я тоже буду жить.
И вам назло Отечеству служить.*

Только вдумайтесь. Эти стихи были написаны в 1944 году. Сергею Михалкову всего тридцать один год. Можно только представить себе, какая должна была вокруг него быть атмосфера, чтобы возникли такие стихи.

Но самое главное, он никогда не помнил зла. У него никогда не было желания ответить, отомстить, запомнить обиды и вернуть обидчику с лихвой. Как чужое зло, так и свое добро, сделанное другим людям, он с легкостью забывал.

Душа его никогда не была отягощена ни обидой, ни самолюбивым чувством удовлетворения от содеянного кому-то благодеяния. Хочу верить, что хоть часть этих качеств досталась и мне. Хотя... однажды впервые ощутив чужую зависть, я ощущаю ее и по сей день в полной мере. Но пример отца меня спасает. И самое главное: Господь так управил, что я сам никогда не испытывал этого чувства к кому-либо. Это губительное, разъедающее душу чувство меня миновало.



Пионеры повязывают галстук Сергею Михалкову на Красной площади. 19 мая 1959 г.

Недаром говорит владыка Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, что «зависть – это скорбь по чужой радости». Несчастнейшие люди – живущие в постоянной скорби.

В отце всегда было сильно развито ощущение самостоятельности. Он никогда не был трусом, хотя прошел большую школу «дворцовой дипломатии». Думаю, врожденный такт и тонкость в отношениях с людьми и позволили ему прожить

свою жизнь, никого никогда не подставив.

Люди власти отцу были интересны всегда, но он никогда не питал иллюзий по их поводу. Разговаривая с человеком, он мгновенно, как рентген, сканировал его сущность и делал вывод, правильный и навсегда.

Все эти качества в сочетании с природной смекалкой позволяли ему умело убеждать в своей правоте руководство.

К примеру, русский монастырь на Афоне должен быть благодарен С. В. Михалкову за то, что не перешел в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Когда отец туда прибыл – первый советский человек, да еще в таком ранге! – его встретили колокольным звоном. Там жили семь или восемь монахов, младшему из которых уже перевалило за семьдесят. Греки же спокойно ждали, когда последний из русских монахов отойдет в мир иной, чтобы занять территорию русской обители и завладеть ее богатствами (одна уникальная библиотека, собираемая с древнейших времен, чего стоит!).

По приезду в Москву отец пришел к Брежневу и рассказал ему о вымирающем русском монастыре, подводя к тому, что туда необходимо как можно скорее отправить молодых православных монахов. Поначалу отец говорил об исторических традициях, духовном наследии... А Брежнев все не мог взять в толк, чего от него хочет поэт.

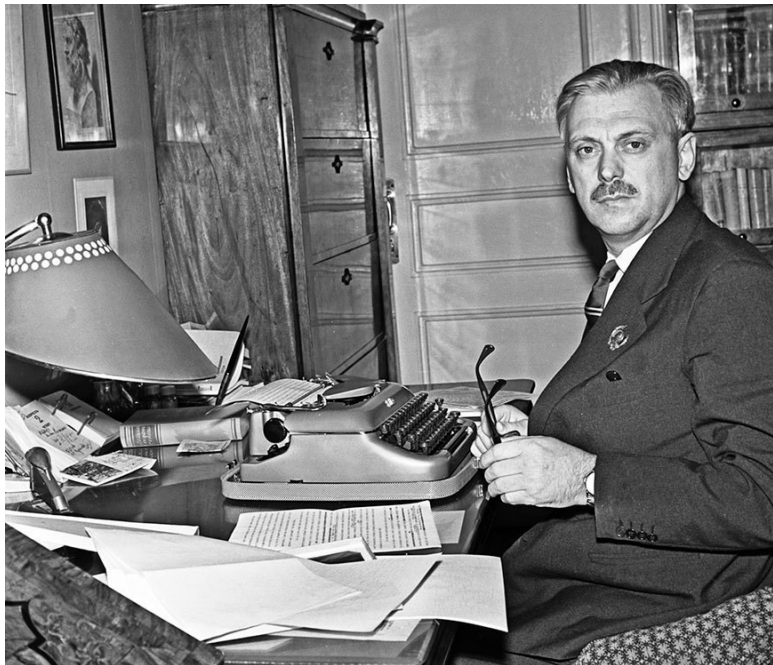
Но, быстро увидев, что генсеку просто трудно вникнуть в смысл иных культурных понятий, отец резко сменил свои

доводы. «Там же несметные сокровища!» И в ярких тонах живописал монастырские богатства, которые могут уйти грекам.

Брежнев тут же оживился, снял телефонную трубку и дал команду – срочно организовать отправку молодых монахов в Грецию, для пополнения Афонского монастыря.

Не подумайте, будто я утверждаю, что мой отец безгрешен. Вовсе нет. Но в главных, корневых вопросах по отношению к себе и к окружающему миру он был честен. И я глубоко убежден, что это результат воспитания и происхождения, то есть осознания того, откуда он родом.

Было такое понятие в XIX веке – человек с правилами. Это означало: до сих пор иду, а уж дальше – увольте. Можно во всеуслышание сказать: «Не пойду дальше», – и быть за это расстрелянным. А можно молча не пойти дальше и – остаться в живых... То есть можно добровольно встать на эшафот – такие люди у меня вызывают восхищение. И в то же время я не могу осуждать тех, кто сохранил себе жизнь, не декларируя свою точку зрения, но и не совершая зла. К таким людям принадлежал мой отец.



Сергей Михалков за рабочим столом. 1968 г.

Это, кстати говоря, облегчает мою внутреннюю жизнь. То есть я избавлен от необходимости, насилуя себя, за что-либо его прощать. А прощать в любом случае я был бы вынужден. Ибо это было бы, конечно, правильно.

Мне посчастливилось унаследовать у отца его быструю реакцию на все проявления жизни. У нас один стиль юмора. Он хохотал, когда я что-то рассказывал, а я умирал со смеха,

слушая его. Еще похожи мы тем, что при природной лени, при страшном нежелании включаться в чужую жизнь всегда заставляешь себя встать на место человека, у которого проблема, идешь и пытаешься помочь.

Со стороны могло казаться, что быть сыном Сергея Михалкова – молочные реки и кисельные берега. Но это приносило не одну лишь радость, но и огромные проблемы – те люди, которые не любили моего отца, но не могли до него дотянуться и сделать ему что-то дурное, вымещали свою «нелюбовь» на его детях.

В этом смысле мы с братом нахлебались... Но затем мы с отцом почти поменялись ролями. Если в детстве, отрочестве, юности мне доставалось из-за чьей-то ненависти к отцу, то затем уже ему стало доставаться из-за ненависти ко мне. Но весь этот надоедный шум, звон комариный его ничуть не волновал...

Были у меня в более зрелом возрасте и трудные разговоры с ним, и серьезные споры.

В какие-то моменты помню отца неожиданно очень жестким по отношению ко мне. Однажды мы ехали в машине на дачу. Шел чемпионат мира по футболу, и я торопился к телевизору. И вдруг заспорили о том о сем. Я говорю: «Да ладно тебе. «...а у Тома, а у Тома ребятки плачут дома». Пишешь всякую ерунду...» Он остановил машину и сказал: «Между прочим, то, что я пишу, кормит тебя, твоего брата и всю семью. Выйди из машины». И, глазом не морг-

нув, высадил меня и уехал. Я остался посреди дороги и пешком добирался, наверное, километров двенадцать. И, честно говоря, многое понял. Причем не испугался, что чего-то недополучу или меня накажут. Просто подумал, что это ведь чистая правда: какая тут может быть «вольная критика», если питаешься с руки того, кого ты осуждаешь? Или уходи из дома, или принимай все как есть.

Отец никогда не давил на нас. И я должен сказать, что только теперь, вспоминая его, понимаю, что такое настоящий аристократ. Его невозмутимость, даже безропотность в приятии всевозможных проблем – принцип, по которому он жил сам и учил жить нас: «От службы не отказывайся, на службу не напрашивайся». Приятие им всего, что происходит, как данности, и неучастие в том, в чем он не желает принимать участия, и та легкость и свобода, с которыми он говорил и делал то, что думает, даже сейчас изумляют и восхищают.



Сергей Владимирович Михалков (второй слева) на заседании клуба деловых встреч во время II Московской международной книжной выставки-ярмарки. 1979 г.

Никакого участия в выборе моей профессии отец не принимал... Он всегда держал ту дистанцию, которая позволяла нам с братом быть самостоятельными, и вмешивался только тогда, когда понимал, что это необходимо.

Он даже не знал, в какой именно из дней 1972-го меня забрали в армию и куда я попал (так что все сплетни о том, будто он пытался отмазать меня, звонил министру обороны, лишены малейшего основания). Только получив первое письмо, которое мне разрешили после принятия присяги напи-

сать, он с удивлением узнал, что я нахожусь на Тихом океане, на Камчатке.

Долгие годы мы с отцом жили в достаточной автономности друг от друга. Разговаривали по телефону, но виделись нечасто. Может быть, поэтому теперь, когда его уже нет, у меня отсутствует ощущение, что я его потерял... Он все время со мной.

Когда отец скончался, его гроб на ночь установили в храме Христа Спасителя, монашески по очереди читали Псалтирь... На другой день – во время отпевания – храм забит был до отказа, шли и шли люди проститься с отцом, – и не было ощущения ни тлена, ни смерти. Скорее наоборот – покоя и света... Конечно, нет больше человека, которому ты можешь сказать «папа», но это однажды приходится пережить всем. Нам еще очень повезло, что он был с нами так долго.

Несколько лет назад (а кажется, совсем недавно), когда мы всей семьей отмечали юбилей брата, папе кто-то позвонил, и он сказал: «Не могу разговаривать, тороплюсь на семидесятилетие сына». А семидесятилетний Андрон в это время сидел за праздничным столом и говорил кому-то: «Мы ждем, сейчас приедет отец...» Это огромная редкость и большое счастье.

Я почти не читал в детстве папиных книжек. Человеку, живущему на берегу Байкала, трудно понять, что кто-то страдает от жажды...

Никогда не видел отца работающим – серьезно, академически. Он летал. Все делалось как бы между прочим, на коленках, на салфетках. «Тс-с, папа работает!» – такого не знали в доме. Главное было другое – Союз писателей, надо куда-то пойти, выбить кому-то квартиру. А новые стихи или пьеса появлялись вдруг, словно из воздуха.

По-настоящему я оценил детские стихи отца, когда готовился к его 95-летию. Выбирал, что почитать на вечере, открыл книжку и – обалдел. Все то, что для меня было прежде естественным и самым обычным, вдруг оказалось совершенным чудом. Вот уж поистине: что имеем, не храним, потерявши, плачем.

Я не чувствую его ухода. Хотя возможно, что мое плохое самочувствие в какие-то моменты – реакция на погоду, усталость... – связано с его отсутствием. Он был скалой, утесом, о которые многое разбивалось. И ведь не скажу, что он меня в каких-то конкретных случаях страховал или защищал. Просто было осознание, что он рядом – старший, любимый, отец...

В свое время потеря матери для меня стала более ощути-

ма — я был моложе. А сейчас постоянно ощущаю какую-то связь с отцом. Я слышу его голос. Я запахи его чувствую!.. И это вовсе не мистическое ощущение, а очень реальное, живое.

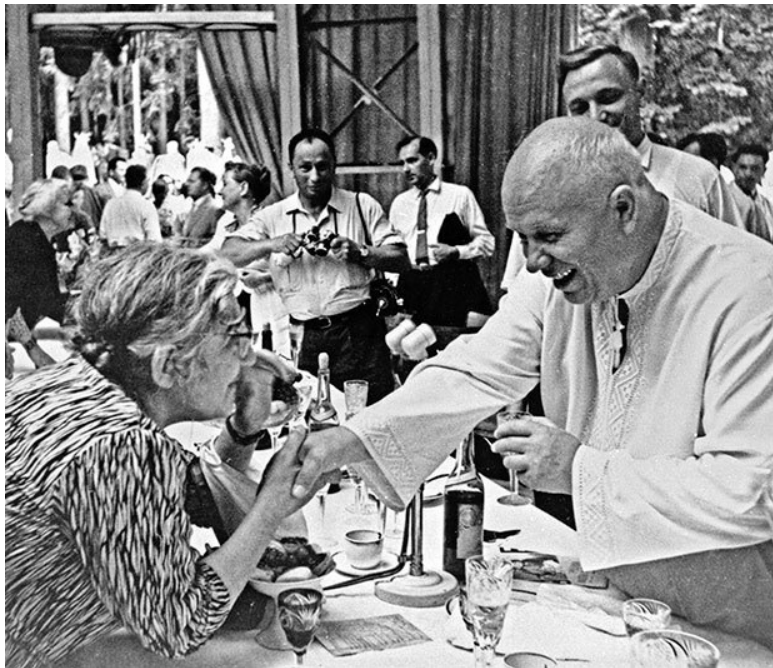
Встреча советского руководства с интеллигенцией

Помню «гениальную» встречу советского руководства с интеллигенцией на одной из правительственных дач, куда отец взял меня с собой...

При въезде охранник спрашивает: «Оружие есть?» Я вытаскиваю игрушечный пистолет и говорю: «Есть!» Папа, совершенно забывшись, говорит: «Ты что, ох...л?» – и я это запомнил, хотя тогда не знал, что это значит.

Мы прошли внутрь. Он подвел меня к Хрущеву, который сидел в кресле на поляне, и сказал ему, заикаясь: «В-вот, Никита Сергеевич, у меня в семье свой Никита Сергеевич...» Хрущев поцеловал меня в лоб и вообще мне понравился: такой добрый дедушка...

А потом начался сюр. Столы президиума были составлены огромной буквой «П». В центре поперечного стола стояла стойка с шестью микрофонами для председательствующего, а им, естественно, был мой тезка. Гостей было приглашено много, поэтому часть мест оказалась за пределами шатра, натянутого над столами.



Н. С. Хрущев (справа) и писательница М. Шагинян (слева) за праздничным столом. 1958 г.

Было жарко, парило. Обед начался с приветственного слова Хрущева. Он что-то говорил непонятное мне и неинтересное. Запомнил я только, что от нас с отцом он был, как мне показалось, очень далеко, а голос его звучал не просто рядом, а словно нисходил от всего полотняного купола огромного шатра. И еще запомнился нескончаемый звон вилок, та-

релок и рюмок, многократно усиленный стоявшими повсюду микрофонами, как, впрочем, и невнятный гул застольных разговоров.

Мне было бесконечно скучно и так же бесконечно жаль отобранного охраной деревянного пистолета.

Но неожиданно вся моя скука развеялась. Грянул не просто сильный дождь, а какой-то тропический ливень с ужасной грозой! Что тут началось! Люди, сидящие за пределами шатра, стали панически жаться к тем, кто сидел в нем. Через мгновение вода потекла сквозь щели в брезенте прямо на стол. Официанты и «чекисты» не успевали палками выталкивать воду с провисавшего под ее тяжестью полотна.

Сверкала молния, и вокруг грохотало так, что казалось, наш шатер сейчас взорвется. Жутко и весело было, когда взрослые тыкали вверх палками и за твоей спиной обрушивались водопады.

И тут произошло нечто еще более неожиданное. Уже сильно выпивший мой полный тезка, все громче говоривший тосты, вдохновенно возгласил: «А я, между прочим, больше доверяю беспартийному писателю Соболеву, чем партийному писателю Мариэтте Шагинян!» Повисла гробовая пауза, люди за столом боялись пошевелиться. Честно говоря, я тогда ничего не понял, но по лицам сидящих вокруг ощутил, что произошло что-то очень важное и глубоко взволновавшее всех.

Дальше произошло нечто еще более невероятное. И Собо-

лев, и Шагинян для начала схватились за сердце, затем – тоже почти одновременно – грохнулись в обморок, и их обоих в одной машине (шолоховском «ЗИСе») отправили в Кремлевскую больницу.

Едва мастеров художественного слова увезли, дождь кончился. Все уже быстро пьянели, кто-то что-то еще говорил... И тут сидящий рядом со мной генерал (потом мне отец сказал, что фамилия его была Московский) мне подмигнул и шепнул на ухо: «Пошли рыбку половим». Я с радостью согласился, и мы вышли из-под душного шатра.

У озера было свежо. С кустов капали крупные капли. Мы взяли у охраны лодку с мокрыми сиденьями, приготовленные для гостей удочки, червяков и отчалили от берега.



Никита Михалков в форме капитана 1-го ранга, 1952 г.

Только много позже я понял и оценил всю сюрреалистичность этой рыбалки. Рыба ловилась замечательно: золотистые карпы плюхались в ведро один за другим. А чего стоило звуковое оформление нашей ловли! Все, что улавливали шесть микрофонов за столом президиума – звон бокалов,

звяканье вилок о тарелки, тосты, шепот, бульканье наливаемых напитков, – висело над всей территорией гигантского парка, сказочным многократным эхом отзывалось, перемешивалось, наслаивалось одним звуком на другой. И среди всей этой фантаσμαгорической фонограммы выделялся громкий сердитый шепот Нины Петровны Хрущевой: «Хватит тебе!.. Хорош уже!..» Потом какое-то мычание, звук немой борьбы (видимо, за овладение бокалом) и оглушительный, как выстрел, стук вилок или ножом по микрофону. «Товарищи!» – восторженно басил мой тезка, начиная очередной тост...

А потом было обидное до слез разочарование. Мы причалили к пирсу и передали из лодки полное ведерко рыбы в уверенно протянутую руку охранника. А тот спокойно выплеснул весь наш улов обратно в озеро.

Дядя Миша

(Михаил Владимирович Михалков)

Иногда мне кажется, что мой дядька, родной брат отца, Михаил Владимирович Михалков, прожил за четыре года войны все, что ему было отпущено прожить за жизнь. Ни до, ни после он не испытывал тех взлетов и пропастей жизни, которые выпали на его долю на войне.

Его расстреливали три раза, он двенадцать раз бежал из немецкого плена. Был в Бресте в первый день войны, а потом он все четыре года шел к своим...

Однажды, когда дядька вел меня из школы домой, мы с ним обходили яму. Он мне говорит: «Пойдем, пойдем быстрее». Я ему: «А что такое?» А он отвечает: «Яма мусорная, видеть ее не могу...»

Когда мы пришли домой, я все-таки уговорил его мне разъяснить, почему он так сказал.

А случилось с дядей Мишей вот что. В одном из концлагерей на Украине они вместе со своим другом – однокашником-грузином скребли тупыми деревянными ножами столы в лагерной столовой. Вдруг вошел фельдфебель и что-то сказал по-немецки. А дядя Миша совершенно автоматически ему по-немецки ответил (в отцовской семье с детства хорошо говорили на этом языке). В лагере же было категорически запрещено скрывать то, что знаешь немецкий язык. И тогда

фельдфебель доложил об этом нарушении.

Немедленно прибежал и начал орать дежурный офицер. Перепуганный дядя Миша делал вид, что ничего не понимает, а бедный грузин действительно ничего не понимал и только хлопал глазами. Ничего не добившись, дежурный офицер коротко приказал фельдфебелю: «Расстрелять обоих!» Фельдфебель вывел пленных к ограде лагеря, и они начали в мягком густом черноземе рыть себе могилу. Пока рыли, дядя Миша все еще на что-то надеялся. Но когда яма уже была по грудь и выскочить из нее было невозможно, он тихо сказал грузину: «Прощай, брат, нас сейчас тут расстреляют. Прости».

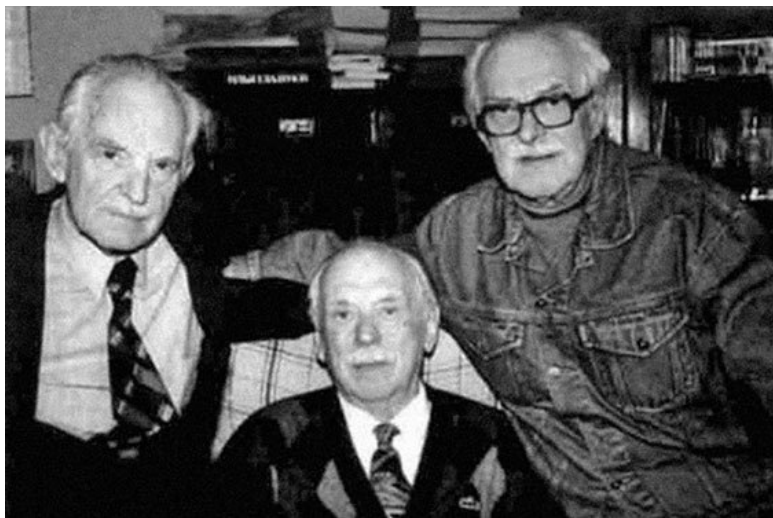


Михаил Владимирович Михалков (дядя Миша)

У бедного грузина подкосились ноги, он чуть не потерял сознание. И тут откуда-то издалека раздался крик дежурного офицера: «Ну что, вырыли помойную яму?» – «Так точно!» – отвечал фельдфебель.

Когда дядя Миша понял, что им повезло, он в невероятном счастье обнял своего грузина и радостно зашептал ему на ухо: «Ура! Это не могилу мы себе рыли, а яму для помойки». И тут произошло самое страшное. Грузин решил, что его просто жестоко разыграли. Он вырвался из рук дяди Миши, схватил острую лопату и со страшным криком со все-

го размаха хотел ударить товарища по голове. И тут раздался выстрел. Грузин так и осел с поднятой над головой лопатой. Стрелял фельдфебель, который увидел, что происходило. Затем он выругался и помог обессилевшему Мише вылезти из ямы. И приказал засыпать тут же тело бедного грузина. А новую помойную яму велел после обеда копать рядом.



Братья Михалковы – Александр, Сергей, Михаил

«После этой страшной истории, – продолжал рассказывать мой дядя, – я потерял чувство страха. Это был рубеж. Я уже ничего не боялся и был готов к смерти каждую мину-

ту. Но вот когда, даже много лет спустя, даже сейчас, вижу помойку, у меня подкашиваются ноги и начинает мутить».

Поразительно...

Уже потом в России, после того как он попал сначала в одиночку, а затем в лагерь, дядя Миша написал своему брату, моему отцу: **«Я бежал из немецких лагерей, а куда мне бежать сейчас? Мне нетрудно убежать отсюда, потому что немцы охраняли лучше. Но куда бежать?!»**

Вот такая семейная «частная история», а сколько в России таких историй?..

Детские годы

География детства

...Помню намерзшие сосульки на штанах. Мокрые рукавицы...

Запах кофе на террасе летом, чашки толстые на даче. Дивный прозрачный свет, особенно утренний.

Вспоминаются отдельные предметы или некие их очертания, казалось бы, не очень связанные между собой, но какая-то деталь может потянуть за собой целую историю...

Блики на паркете в квартире московской... Мы жили на улице Воровского (возвращено название Поварская), до этого на улице Горького (теперь Тверская). На Воровского я прожил большую часть детства и юности, а потом переехал – стал жить отдельно.

Но основные ощущения детства – это дача и московская квартира.

Дача на Николиной Горе – это то, что называется малой родиной. Я там жил почти с рождения, с пяти лет...

Когда мои дети были маленькими, я повел их от нашей дачи вниз, в поле, и там за рекой, на другом берегу, за церко-

вью, садилось солнце. И я просто без всякой патетики сказал: «Вот, ребятки, это ваша родина». И после этого почти каждый вечер, пока мы жили там до переезда в город, они просили меня, чтобы мы пошли посмотреть на родину.



Никита и Андрей Михалковы с воспитательницей Никиты испанкой Хуанитой. 1946 г.

До двенадцати лет я круглый год жил на Николиной Горе с нянькой-испанкой, воспитательницей Хуанитой, попавшей в СССР на пароходе с детьми, которых увозили от гражданской войны 1937 года в Испании. Она появилась в нашем доме еще до моего рождения. И почему-то очень любила именно мальчиков. Сказав, что «если будет девочка – я не оста-

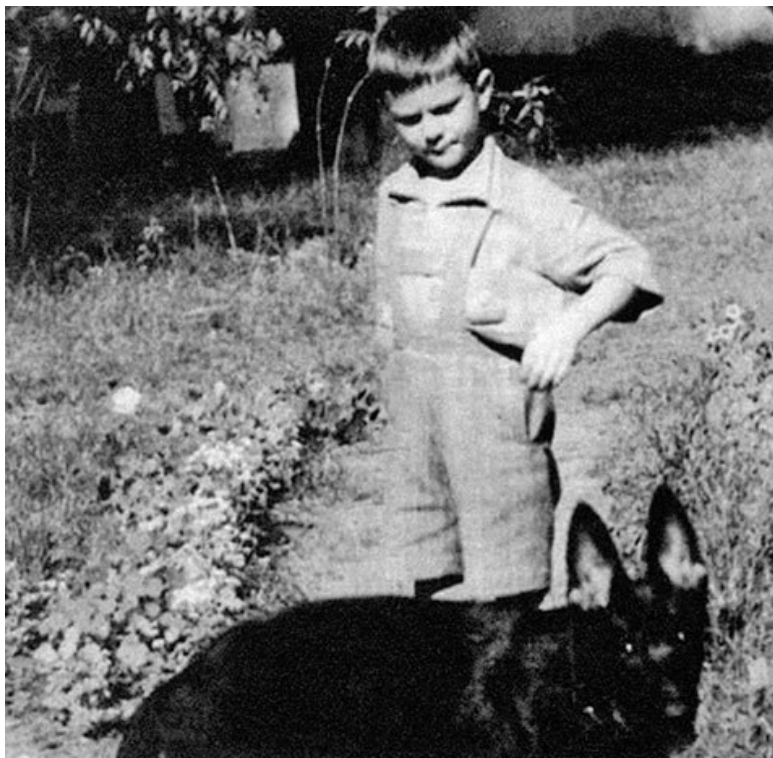
нусь, если мальчик – останусь у вас». Родился я – и она осталась.

До двенадцати лет я говорил почти все время по-испански, так что иногда отец не мог понять, что я от него хочу. Затем мой язык превратился в какую-то смесь испанского с русским.

Хуанита была испанкой совсем маленького роста и, как сейчас помню, с очень жесткой ладошкой. Ее запомнили мои детские ягодицы, когда она меня наказывала. Она была очень строгой, как мне казалось, и невероятно любящей. Ее любовь была настолько сильной и по-испански горячей, что, как я потом понял, она даже ревновала меня к моей маме. Мама и отец приезжали на дачу не так часто. А весной мы вообще были отрезаны от дороги, и, пока не налаживался при разливе паром, они жили в Москве, а мы – на даче. **Все детство – это бесконечное ожидание приезда родителей.** Сельский магазин, поселок РАНИС – работников науки и искусства. Я переименовал аббревиатуру РАНИС в «Утомленных солнцем» в ХЛАМ: поселок художников, литераторов, артистов, музыкантов.

С самого раннего детства моя жизнь была связана с собаками. На Николиной Горе жили овчарки, сменяя одна другую. Первая собака, которую я помню, была серая большая овчарка Найда – невероятного ума и любви ко мне. Однажды Хуанита, я, четырехлетний, и жившая в нашем строящемся доме портниха Шура начали играть зимой в прятки.

Шура водила, а мы с Хуанитой прятались. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать». В поисках меня Шура прошла мимо, и я выскочил из-за дерева и побежал к тому месту, чтобы «застучаться». Шура кинулась за мной. Это увидела Найда и, выскочив из будки, кинулась мне наперерез, повалила, схватила зубами и потащила за воротник шубы к себе в вольтер. Бросившиеся было за мной Хуанита и Шура были отогнаны ее страшным рычанием и лаем. Они отступили.



Никита и Найда на даче на Николиной Горе. 1952 г.

Найда затащила меня к себе в вольер, потом втянула к себе в будку и села у входа. Бедные женщины кричали, ругались, требовали от Найды, чтобы она отошла от будки. В ответ овчарка лишь рычала. В этой теплой собачьей будке, застеленной сеном, я и уснул. Самое интересное, что, когда она

меня тащила, я не испытывал никакого страха, а даже наоборот – мне нравилось, что она меня тащит, отпугивает Хуаниту. Не было у меня никакого желания вскочить и от нее убежать.

Приехали родители, и только маме Найда разрешила меня забрать. Когда отец, испуганный и возмущенный, пытался Найду наказать, я заплакал, умоляя не трогать ее.

И как сейчас помню, я впервые уговорил пустить Найду в дом. Она сидела с нами у печки и чувствовала, что за то, что она сделала, ее не только не будут наказывать и ругать, наоборот, оценены ее любовь и верность.

Веревочки

Как сейчас помню, стою с мамой в Столешниковом пе-реулке в самой знаменитой кондитерской. Большая, вся ка-кая-то белесая тетка в белом халате укладывает в коробку из тонкого картона разнообразную «красоту». А «красота» эта складывается из двух «корзиночек» с вишенкой в середи-не, двух «картошек», эклера с заварным шоколадным кре-мом и белой глазурью сверху и многослойного «наполеона». Стою и глотаю слюни, кажется, уже сладкие, предвкушая неземное удовольствие. Наконец белая тетка накрывает пол-ную коробку белой крышкой и начинает завязывать бумаж-ной бечевой. Но тут ее кто-то отвлекает, она начинает раз-говор, автоматически продолжая затягивать все новые и но-вые узлы.



Никита с мамой. Конец 1940-х гг.

Вот вяжет она узлы и вяжет, а я стою и ужасаюсь: «Мама дорогая, что же ты делаешь?.. Вот принесем мы эту коробку, которую ты завязала, наверное, узлов на сорок, домой. И что?!»

Казалось бы, возьми ножницы или нож, разрежь бечевку, и все – полный рот пирожного. Ан нет. Нам с сестрой и братом дома категорически запрещалось резать бечевки и ленты, которыми были завязаны покупки и подарки. (Я помню,

на кухне в буфете открывался ящик, и в нем лежали пробки, на которые были намотаны эти самые ленточки и бечевочки.) И вот ломались ногти, доставались иголки, чтобы все это поддевать и развязывать.

Для чего? Почему?!

А потому что, как говорил Серафим Саровский: «Паче поста и молитвы есть послушание». Это была для нас настоящая школа, урок терпения – всегда доводить начатое дело до конца.

Вот и развязывали мы эти веревочки. За это время много чего передумаешь. Даже и пирожное есть порой расхочется, пока эту коробку развяжешь...

О воспитании

Моя мама часто говорила: «Воспитывать надо, пока поперек лежит, лег вдоль – уже поздно!»

Поэтому надо водить детишек в церковь, в воскресную школу, читать им русские сказки. Тогда, подрастая, они будут ощущать себя частью великой Родины, ее истории и культуры.

Так и воспитывается самое главное – национальный иммунитет. Если он с детства прививается, потом никакие «прыжки и гримасы» жизни не страшны. Ты всегда в минуты сомнения и неуверенности сможешь обратиться к тому бесценному опыту семьи, детства.

Я думаю, какими бы методами «сознательно» нас ни воспитывали, та особенная атмосфера, которая витала в доме, непроизвольно высветлила и ту атмосферу, которую мы потом любовно пестовали и в других домах – в тех, где мы растили уже наших детей. И надеюсь, которую теперь наши дети создают в своих домах. Неуловимая аура...

Вообще, о воспитании много спорят – то ли так воспитывать, то ли эдак. Либо разрешать все и жалеть, либо не разрешать и жестко управлять становлением ребенка. Но мне кажется, главное, чтобы это было абсолютно органично во всех смыслах. Часто возникают споры: пороть, не пороть, наказывать, не наказывать? Я не знаю общего правила.

Если говорить про мою жизнь, то да, меня пороли. И довольно больно и обидно. Но уже тогда я понимал: меня никогда не наказывали просто так, из желания доказать превосходство взрослого над ребенком. **Самые серьезные наказания полагались за вранье**, что, собственно, осталось уже и в моей семье.

Здесь важно, чтобы в основе всех взаимоотношений (включая самые строгие наказания) лежали уважение и любовь.

Помню, как однажды я пришел домой (наверное, мне было лет четырнадцать или тринадцать). И отец унюхал запах, не свойственный ребенку, – запах алкоголя. Я не был пьян и действительно почти не пил. Во дворе мне дали глоток пива. Я его попробовал и больше пить не стал. И когда отец спросил меня: «Что ты пил?» – я ответил: «Просто пиво».

Со словами: «А что, в пивных ш-школьники сидят?» – я получил затрещину, которая в моем сознании теперь прочно связана с великой русской литературой. Я летел мимо книжного шкафа, и там мелькали фамилии: Толстой, Достоевский, Чехов, Ахматова...

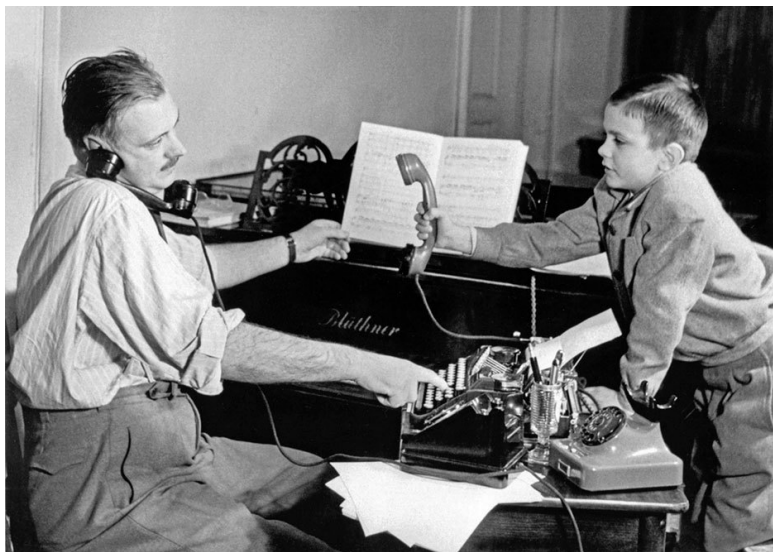
Потом, в течение жизни, я довольно часто вспоминал эту оплеуху. Не потому, что она меня навсегда связала с русской литературой, а потому, что, иногда оказываясь в таком же положении, как мой отец, – уже по отношению к своим детям, я понимал, что бывают ситуации, при которых вопрос надо решать сразу – резко и неожиданно, для того чтобы

дать понять ребенку, насколько важно и значимо для меня и для него то, что он сделал.

На мой взгляд, в подобных методах нет ничего дурного. Русский человек так устроен. У нас же не свободы, у нас – воля, а это совсем разные вещи. Поэтому такие вещи, как чередование кнута и пряника, – неоценимо важны. Но еще важнее знать, вернее, интуитивно чувствовать, когда что применить.



Никита и Сергей Владимирович Михалковы на концерте



Сергей Владимирович и Никита Сергеевич Михалковы за работой

Главное, помнить всегда: существует доверие и недоверие. Существует уважение или отсутствие его. Существует душевно-духовная связь... Тогда ты можешь месяцами и даже годами не видаться с родными людьми и при этом не испытывать тоски. Невольное сознание того, что где-то они есть, живут, улыбаются, смеются и продолжают быть частью тебя... – наверное, и есть самое главное. Это несоизмеримо

больше, чем просто писать открытки на именины и все дни рождения и обижаться, когда не получаешь такие же в ответ.

В этом случае постоянное присутствие рядом и опека совершенно не требуются. Ты должен появиться в тот самый момент, когда ты необходим, когда это действительно нужно.

Это касается не только отношений в семье. Это касается и дружбы, серьезной, длинной. Когда тебе совершенно достаточно того, что человек, которого ты помнишь и любишь, живет, пусть даже и далеко от тебя, но и ты продолжаешь жить в его душе, во всем его существовании. Наверное, это самые крепкие и самые искренние связи между людьми.

Еще одна важная вещь, которую я понял с возрастом, – значение гармонии. Наша мама старалась воспитать нас гармоничными людьми. А гармония – это определенный внутренний строй, лад. Это когда в человеке то, что он хочет, сочетается с тем, что он может. Мы знаем множество примеров, когда люди становились несчастными именно оттого, что, хотя они и занимались тем, что им хотелось, они не понимали, что делать это хорошо им не под силу. (По каким причинам – это уже другой разговор.)

Думаю, само понятие «воспитание» – не что иное, как воспитание иммунитета к окружающему миру и тем опасностям, с которыми человек может столкнуться в течение жизни. И зиждется этот иммунитет на корневой системе семьи, дома, страны...

Йод

Это тоже из памяти детства. Причем не в связи с разбитыми коленками и содранными локтями.

Коричневые капельки закапывались мамой в маленькую рюмочку молока и принимались ежедневно. Наверное, для щитовидной железы... (Прежде чем взять на вооружение рецепт, следует посоветоваться с лечащим врачом. — *Примеч. ред.*)

Детская вера

...Это мама.

Мы ежедневно читали утренние и вечерние молитвы и 90-й псалом «Живущий под кровом Всевышнего...», а каждый Великий пост, как и положено, перечитывали все четыре Евангелия.

Отец никогда этому не мешал. И не ехидствовал: мол, дома – православие, а на партсобрании – персональные дела за религиозные пережитки. Все было поставлено таким образом, что мама, памятуя о высокой должности, которую отец занимал в иерархии системы, «оберегала» его от всего того в нашей жизни, что было связано с церковью. Когда приходил духовник, который исповедовал нас и причащал, отца, как правило, не было дома. И он никогда не вступал ни с кем в спор по поводу веры, хотя по всем остальным вопросам (коммунизм, Хрущев, Брежнев) в семье случались «жестокые баталии»...

Мама (она была беспартийной) тоже никогда никому не навязывала своих воззрений в области религии. Все шло само собой. У мамы был прекрасный вкус и замечательное чувство меры, которые гарантировали от пошлости.

Дома вера была в безопасности, но я знал, что для внешнего мира – это подполье. И когда я уходил в армию и мой духовник подарил мне замечательный образ

священномученика Никиты, я прятал его, зашивал в вещи. Было ощущение, что мир вокруг будто двоится. Я с ужасом думал о том, что папу выгонят из партии, а меня – из комсомола. Ощущение постыдное, но оно было.

Я помню себя восемнадцатилетним на Пасху в храме Воскресения Словущего на улице Неждановой. Помню ужас от того, что мне даже в храме перекреститься было очень непросто.

А для моих детей это уже совершенно естественно. Когда мы как-то в Питере зашли на службу в храм Николы Морского, наш шестилетний Тёма исчез. Я нашел его среди нищих, он сидел у одного из них на коленях. Такой абсолютный выплеск чувств – и никакого страха, что ему за это что-то будет. Меня это поразило.

Мое чувство страха усугублялось еще и тем, что профессия моя – публичная, многое на виду. Мне это всегда мешало, особенно на службе, где и так довольно трудно бывает объяснить себе, особенно в молодости, зачем всё это делаешь – зачем стоишь на службе, молишься, читаешь Евангелие?

Конечно, со временем этот вопрос отпадает сам собой. Потому что каждый раз открываются совершенно невероятные вещи. И это всеобъемлюще: Господь дает тебе именно в эту минуту услышать то, что является ответом на твой вопрос, и ты словно впервые слышишь те бесценные слова, которые, казалось бы, давно знакомы.

Скажем, после выхода новой картины искушения просто наваливаются. Вдруг в Евангелии от Матфея читаешь притчу о зависти: помните, работники в винограднике, нанятые хозяином последними, пришли получать плату за свою работу. И первые говорят: мол, как так? «Мы работали с раннего утра, а эти последние работали один час, а получают столько же, сколько и мы». А хозяин им отвечает: «Не о том вы беспокоитесь, что я вам мало плачу, а о том, сколько я им плачу».

Учеба в школе

Если уж мне снятся страшные сны, так именно о школе...

Однажды (это было в 20-й школе, где потом учились и мои дети) меня вызвали к доске. Я отправился, по словам классика, с легкостью в мыслях необыкновенной. Подошел к доске, увидел уравнение, взял мел. И тут почувствовал, что не только не могу решить, но просто не понимаю, что написано. И когда за спиной услышал бодрый скрип перьев одноклассников, со всей очевидностью ощутил ту пропасть, на краю которой стоял. Причем наибольшее впечатление произвело не то, что я не знаю, а то, что ребята знают, а я нет!

И от этой безысходности я потерял сознание. Очнувшись, увидел над собой ироничное лицо учительницы, которая была убеждена, что это «липа». Тем не менее меня отпустили домой. Потом, много лет спустя, я узнал, что вся учительская в окна смотрела мне вслед и ждала: вот сейчас Михалков даст стрекача. А я действительно плелся, едва передвигая ноги, ничего не соображая, держась за стену.



Никита Михалков в 1954 г.

Причем до четвертого класса я учился довольно хорошо. До тех самых пор, пока не возникла необходимость «разворачивать мозги» в сторону точных наук. Сначала просто упустил какие-то важные «системные моменты», и трудно было

наверстать, дальше – больше.

В последний раз у меня было просветление в седьмом классе, когда я вдруг понял теорему по геометрии, выучил ее, поднял руку, но... вызвали другого, который получил «пять».

С тех пор «шторка» над математикой для меня навсегда опустилась...

По математике же мне достаточно было тройки, главное – скорее закончить школу и стать артистом! Даже выбора никакого не существовало. Я с детства был приговорен к этому по собственному желанию.

Хотя почти все, кроме математики, скажем, литература, география, история, даже биология, давалось легко. А уж когда начались общественные науки, я «пудрил мозги» педагогам со скоростью невероятной. И надо признаться, с немалой фантазией.

Как-то, не зная абсолютно ничего из заданного материала, я выдал преподавательнице по истории партии, что Буденный дошел с Первой Конной до Белграда! И брякнув такое, по изумлению педагога тут же понял, что попал пальцем в небо, но отступить было некуда, и потому я уверенно добавил, что «вот только-только вышла книга». Преподавательница даже записала выходные данные этого несуществующего издания. Но это было уже в студенческие годы. Там куража было больше.

Первые влюбленности

Что-то более или менее серьезное возникло, наверное, лет в двенадцать.

Как я писал выше, «первый раз в первый класс» я не пошел, поскольку рос на даче на Николиной Горе, откуда выбираться каждый день на занятия в Москву было нереально – на дорогу уходило бы полдня. Поэтому поначалу я брал частные уроки у местной учительницы, ходил к ней на дом.

Когда переехал к родителям в Москву, попал в школу для мальчиков возле американского посольства на улице Чайковского, ныне Новинском бульваре. В ту пору еще практиковалось раздельное обучение, но вскоре нас объединили с девочками, и это стало настоящим откровением, даже шоком. До последнего момента не верилось, что будем сидеть за одними партами, вместе ходить по коридорам...

Мы разглядывали их, они – нас. Тогда и появились первые влюбленности, еще лишенные каких-либо эротических стремлений. Объекты увлечения менялись, но оставалось терпкое ощущение соперничества, борьбы за внимание дамы сердца. Более осязаемые привязанности возникли позже, года через три...

В то время меня потянуло к девочкам постарше. Был влюблен во внучку легендарного героя Гражданской войны Щорса. Она опережала меня на два класса. Соответ-

ственно, и все ее друзья были старше меня. Но так как мне не хотелось уступать им ни в чем (в том числе и в возрасте), «пришлось» приписать себе лишнюю пару лет. В связи с этим, находясь в их компании, пришлось многое выдумывать.

Они были детьми именитых, уместнее даже сказать, высокопоставленных родителей.

Мы часто собирались у нее в квартире в известном Доме на набережной, на одиннадцатом этаже.

Обычно я находился в довольно большом напряжении, так как не мог соответствовать их разговорам даже на темы школьной программы (мне-то и с программой своего класса тяжело было управиться, а уж имитировать, что учусь на два класса старше, было совсем не под силу). Поэтому я брал другим: пел песни под гитару, рассказывал какие-то истории, но, в принципе, отношение ко мне было довольно снисходительное.

Однажды я, совсем забыв, что среди нас находится сын легендарного маршала, спел песню Гены Шпаликова:

*У лошади была грудная жаба,
Но лошади послушное зверье.
Она с ней на парады выезжала
И маршалу молчала про нее.*

*А маршала сразила скарадина,
Она его сразила наповал,*

*Но маршал был выносливый мужчина
И лошади про это не сказал.*

Я без всякой задней мысли пропел эту песню...

Воцарилась тишина, а затем очень спокойно сын маршала и два его приятеля, тоже из очень высокопоставленных семей, поднявшись со своих мест, попросили меня выйти из гостиной. Я вышел в прихожую, там они всучили мне мое пальтишко и очень деликатно, в общем, без насилия, выставили за дверь.

Состояние мое трудно вообразить, врагу не пожелаю. Передо мной зиял квадратный лестничный пролет, казавшийся с одиннадцатого этажа бездонным. Зияло смертельное унижение, и... как же его пережить?! Вот так уйти? Сесть в лифт, вернуться домой и лечь спать?.. Я просто представить себе не мог, как дальше жить!

Дальше все происходило достаточно сомнамбулически. Я не знал еще, что буду делать, когда нажал кнопку звонка в квартиру. Открыла дверь домработница, я вошел в прихожую, повесил пальто. Прошел в гостиную. Они сидели за столом по своим прежним местам и на мое появление отреагировали достаточно спокойно, без всякого негодования. Просто с интересом наблюдали, что я буду дальше делать.

Как по приборам, я прошел через эту гостиную, вышел на кухню. Там, как я помнил, был небольшой балкон. Я открыл балконную дверь...

Над Москвой занимался рассвет. Была ранняя весна...

И, сказав вышедшим за мной на кухню: «Ну а так кто-нибудь из вас сделает?» – я вышел на балкон, перелез через перила и... повис на руках – причем не наверху на перекладине, а внизу – там, где особенно неудобно держаться, потому что там были довольно тонкие четырехугольные прутья.

А после этого я еще отпустил одну руку – и **остался висеть на одной руке над пустым пространством, высотой в одиннадцать этажей.**

Ужас, который я увидел в их глазах, был несоизмеримо больше, чем тот ужас, который испытывал я. Потому что я его пока вообще не испытывал.

Они кинулись на балкон, стали протягивать мне руки. Я сказал: «Отойдите! Иначе я отпущу руку».

Они отошли...

Я потом долго анализировал – как же я мог удержаться? Каким образом меня удержала эта мальчишеская кисть с врезавшимся в ладонь четырехгранником?

Перехватив второй рукой балконный прут, я подтянулся и перелез обратно на балкон.

Там все были в шоке, конечно же. Я же еще находился словно под наркозом своих кипящих чувств, среди которых, впрочем, ощущение победы уже неудержимо становилось главным!

Я прошел через кухню в гостиную. Взял со стола еще непитый стакан с чем-то довольно крепким. Ахнул его...

И не простившись, прихватив свое пальто, вышел из этого дома и больше там не появлялся никогда.

Позднее я припоминал с большей отчетливостью те или иные моменты данной ситуации. Например, то, что в лицах людей, выскочивших за мной на балкон и тянувших ко мне руки, ясно читалось, что их волнует, собственно, не столько то, что я сорвусь и разобьюсь, сколько то, что я выпаду из квартиры известного Дома на набережной, которая принадлежит потомкам легендарного героя. И то, что в этой квартире в этот злосчастный момент находятся все они. Думаю, сама возможность оказаться участниками столь скандальной истории тогда виделась им наибольшей неприятностью.



Легендарный Дом на набережной

Спустя несколько лет (я уже снимался в кино, учился в Щукинском училище) все та же команда приехала на пляж Николиной Горы. Я читал какую-то книжку, когда они проехали мимо. Меня не заметили, я же невольно наблюдал за ними...

Абсолютно те же шутки, те же тусклые и барственные разговоры, та же расстановка сил и взаимоотношений... Мне оставалось только еще раз порадоваться тому, что я тогда сделал. Как и тому, что я, к великому счастью, так и не влился тогда в ряды их «доблестной компании», а, выйдя навсегда из квартиры в Доме на набережной, пошел своей дорогой.

Выпускной экзамен

Смешная случилась история в школе рабочей молодежи для танцоров, которую я окончил.

Да-да, я опускался, опускался и докатился до школы, где учились рабочие-танцоры, которые, впрочем, часто выезжали на гастроли за границу. Им просто надо было получить среднее образование.

Там же училась тогда Таня Тарасова – девушка с замечательной точеной фигуркой. В нее все были влюблены...

Директор школы Галина Ивановна, прекрасная женщина, ко мне нежно относилась. Но и она понимала, что выпускной экзамен по математике мне не осилить. Я сам ей честно признался: «Галина Ивановна, клянусь, я не сдам!.. Галина Ивановна, – говорил я, – ну зачем мне понадобится эта математика? Зарплату сосчитать? Я ее правильно сосчитаю и так». Я уже работал в театре Станиславского, играл на сцене и полагал, что судьба моя уже решена... Однажды она вызвала меня к себе в кабинет и спрашивает: «Ты можешь один билет выучить?» Я говорю: «Один могу». – «Какой ты хочешь?» – «Седьмой». (Семь – мое любимое число.)

Я его выучил от первой до последней фразы, как молитву. Тем не менее я насовал еще во все карманы шпаргалки – а вдруг забуду. Она меня предупредила: твой билет будет лежать третьим слева.

И вот я вхожу на экзамен в первой пятерке, чтобы седьмой билет никто до меня не взял. Рядом с учительницей сидит инспектор РОНО, старичок-бодрячок с бородкой, такой старорежимный профессор из кинокартины «Весна».

Солнечный день, открыты все окна, волнуются как ученики, так и преподаватели. И моя учительница по математике говорит: «Михалков, может быть, все-таки ты придешь попозже? Ну зачем же нам портить образ школы?» Я говорю: «Нет, я пойду первым».

Она вся побелела.

Я иду к столу. Третий билет слева беру: седьмой. Сажусь. Выписал все формулы, решил упражнения, все проверил по шпаргалкам. Выхожу отвечать. Как все было написано в книге, так я и чешу. Потом уравнение, задача. Инспектор говорит: «Никита, для того чтобы получить твердую пятерку, нужно будет ответить на дополнительные вопросы». Я без раздумий говорю ему: «Не надо». Он: «Как?! Вы же так блистательно отвечали! Вы согласны получить “четыре”?» Я: «Нет». Инспектор ошалел: «А чего же вы хотите?» У меня невольно вылетает: «Я хочу скорее отсюда уйти!»

И тут моя учительница математики выходит из ступора, в который впала от моего блестящего ответа, и врывается в наш разговор. Она кричит профессору, что все, что здесь сейчас свершилось, как минимум невероятная случайность! Что я не знаю ее предмет и на три балла!.. Это у меня не вызывает ни малейших возражений.

Ничего не понимая, ужасно расстроившись, старичок ставит мне тройку, и я выхожу со счастливым лицом.

Вот так я учился.

Брат

Старший брат – это серьезная штука, тем более если он старше на целых восемь лет. Ты родился, а он уже идет в школу. Тебе восемь – ему уже шестнадцать. Тебе шестнадцать – ему уже двадцать четыре, и он уже почти женат...

Это всегда рождало неизбывный потаенный интерес к нему самому и его жизни, тем более что с его стороны отношения преимущественно строились по принципу необходимости в тебе: принести, унести, покараулить, наврать что-нибудь по телефону. Но меня это ничуть не тяготило, поскольку такая зависимость позволяла оказываться в компании его друзей и знакомых неоправданно часто.

Представьте эти годы: первые магнитофоны «Днепр», первые джазовые пластинки, первая в СССР американская выставка в Сокольниках, волшебное слово «пепси-кола», запретный для меня неведомый напиток – виски, который возник на журнальном столе в комнате брата. **Это время огромных надежд и какой-то таинственной «свободы», о которой все говорили.** И которая, хотя меня лично никак не касалась (я просто не знал, что под этим подразумевали взрослые), манила своей неизведанностью...

Мне было бесконечно интересно находиться в комнате брата, когда там собирались его товарищи. Конечно, я не все понимал, не осознавал того значения, которое име-

ли (или совсем скоро будут иметь) эти люди для нашего общества. Но само присутствие этих людей, неповторимая харизма каждого, юмор, их шумные споры совершенно завораживали. А спорили там ни много ни мало Женя Урбанский, Юлик Семенов, Андрей Тарковский, Люся Гурченко, Таня Лаврова, Иннокентий Смоктуновский, Эрнст Неизвестный, композитор Слава Овчинников, оператор Вадим Юсов, пианист Коля Капустин, даже, извините меня, – Примаков, который дружил тогда с Юликом Семеновым. Думаю, присутствия и одного из перечисленных с избытком хватило бы, чтобы сделать невероятно интересной и значимой любую компанию, вне зависимости от наличия иных участников.



Братья – Андрей и Никита Михалковы. 1949 г.

Когда они собирались вместе и я бывал допущен, я невольно насыщался этой атмосферой – дружбы и сотворчества, импровизационного юмора и абсолютной открытости... Причем я впитывал все это совершенно бессознательно. Если бы меня спросили, о чем шел разговор, я бы не вспомнил.

...Вот Женя Урбанский красиво ухаживает за Таней Лавровой... Юлик Семенов еще не был женат на моей сестре, но я уже смутно чувствовал, что между ними протянута незримая нить, и ревниво разглядывал этого человека, явно замышляющего увести мою сестру из дома...

Вспыхивают эпизоды, запавшие в душу выразительные зарисовки, самой жизнью поставленные с блеском этюды...

Вспоминаются неторопливые, но завораживающие рассказы Эрнста Неизвестного, который по солдатской привычке курил не как все, а в кулак.

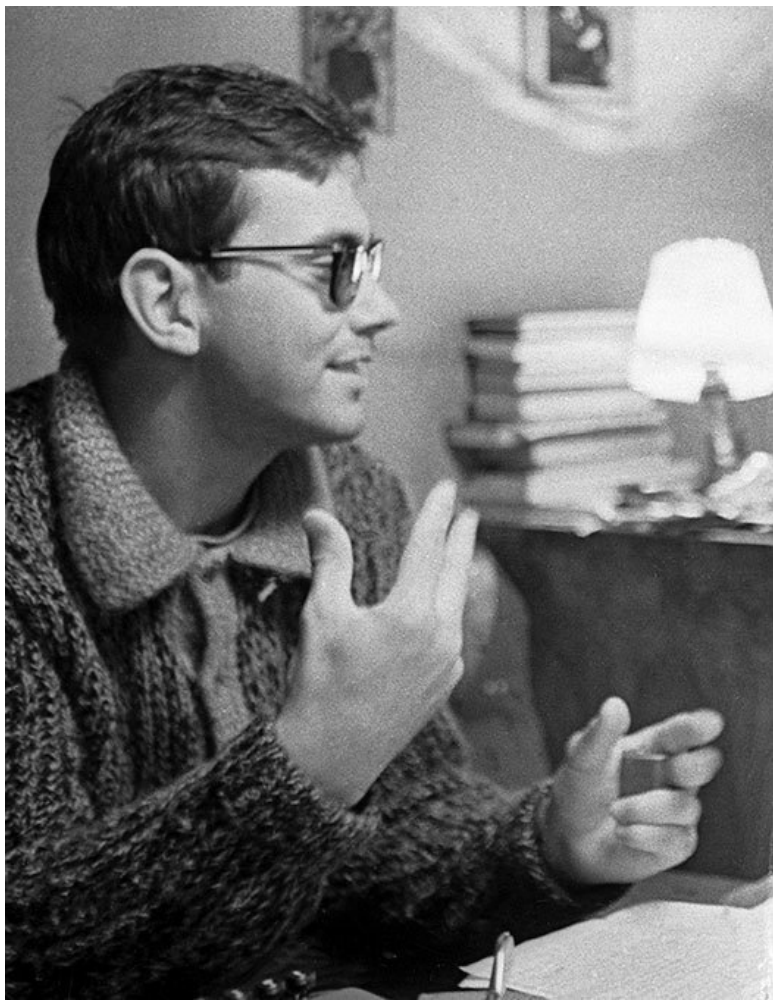


Андрей Тарковский и Андрон Михалков-Кончаловский обсуждают сценарий фильма «Андрей Рублев». 1964 г.

Можно представить, насколько я дорожил отношениями с братом, боясь, что, если я их как-то испорчу или нечаянно что-то нарушу в атмосфере вечера, меня больше не пустят в эту компанию и я не смогу наслаждаться, тихо сидя в углу и наблюдая за этими невероятно интересными малознакомыми людьми. **Култ старшего брата для меня был основополагающим во всех смыслах.** И конечно же, ему было позволено — да и он сам позволял себе по отношению ко мне — намного больше, чем мне бы хотелось. Тем не менее я никогда не воспринимал это как унижение, причиненную сознательно обиду или желание надо мной по-

властвовать, хотя... теперь думаю, это, последнее, отчасти тоже было.

Еще одна важная, может быть, самая главная вещь определяла наши отношения – это верность. (Конечно, его обязательства по отношению ко мне были достаточно условны, но мои перед ним – совершенно отчетливы и непререкаемы.)



Андрон Михалков-Кончаловский. 1962 г.

Помню, однажды мой брат сказал, что придет не один, и так как дома оставался только я, он попросил меня пойти погулять. Конечно, мне было невероятно интересно, кого он приведет, но, так как я обещал уйти раньше, чем они окажутся в квартире, я и отправился на вынужденную прогулку, с которой должен был вернуться через полтора часа. Но... когда я вернулся домой, дверь мне никто не открыл. Я снова вышел на улицу, решив позвонить брату из телефонной будки. Стоял жуткий мороз. Сняв одну варежку, я накручивал свой номер на ледяном металлическом диске. К телефону никто не подходил. И как назло, аппарат проглотил две копейки. У меня осталась последняя монета. Я позвонил еще. Тщетно. Длинные гудки в трубке. В последний раз я набрал номер и, сунув трубку под шапку-ушанку, завязал под подбородком тесемки. И так, стоя и слушая протяжные тоскливые гудки, я глубоко заснул, привалившись к заиндевевшим стеклам телефонной будки... Вдруг сквозь сонное забытие я услышал испуганный голос брата, сразу очнулся и невероятно обрадовался. Оказалось, что он ушел провожать девушку, забыв оставить мне ключи, и только вернулся домой. Самое удивительное, что я не испытывал ни обиды, ни злости по отношению к брату. Напротив, меня переполняли гордость и радость оттого, что сумел выполнить все, о чем он меня попросил: и ушел, и не помешал, и терпеливо ждал, не сломленный ни долгим ожиданием, ни зимней стужей.



Сергей Владимирович Михалков с сыновьями

Я был так растроган его заботой обо мне, что моя благодарность ему, кажется, была даже больше, чем его – по отношению ко мне. Когда он обнял меня, отогрел уши и руки, напоил горячим чаем и с улыбкой попросил прощения, для меня это его извинение было дороже всего остального.

И еще... именно брату я писал из армии обо всем, что меня волновало в то непростое время. А волновало меня, заброшенного волею судеб на Дальний Восток, очень многое. Самое интересное, что я писал не для того, чтобы получить ответ. Мне важно было выговориться, чувствуя и зная: то,

что пишешь в своих письмах, не улетает в пустоту, а остается в памяти и сердце любимого тобой человека.

Институты

«Никогда не возникало вопроса, кем я стану...»

Ни-ког-да отец не «принимал участия» во мне в плане карьеры, жизненных удобств или просто направления по жизни. Ни в том, чтобы меня «поступить» в институт, ни в том, чтобы освободить от армии... Никогда!

Вообще, родители совершенно не влияли на мой выбор. Не поощряли, не запрещали, так что я не могу поведать душеспасительную диккенсовскую историю: как пробивался, страстно желал, а не давали, по морозным улицам босиком бегал... Конечно, приятно иметь в запасе такую историю. Но у меня все было немного прозаичнее.

Я занимался, что для юного человека более естественно, сначала актерским делом, а потом уже и режиссурой. Учился музыке. К сожалению (может быть, и к счастью), музыканта из меня не получилось, но то, что я учился музыке, мне очень много дало. Потому что, когда ты думаешь о пластике фильма, внутреннее музыкальное ощущение очень важно. Недаром великий актер и педагог Михаил Чехов (кстати, племянник Антона Павловича Чехова) говорил,

что любое искусство хочет быть похожим на музыку. Если вдуматься, это потрясающая мысль. Действительно любое: литература, архитектура, изобразительное искусство, театр, кино – все пытается быть похожим на музыку. И в этом смысле прикосновение к музыкальному образованию дает очень много, например возможность найти энергетическую интонацию сцены. Вообще, **для меня все, что звучит в картине, будь то шаги или шелест листьев под ветром, – все музыка.** Поэтому я очень благодарен судьбе за возможность прикоснуться к музыкальному образованию.



В начале 60-х гг.

До Щукинского училища я уже работал в театре, играл в театре Станиславского, учился в их студии.

Еще будучи школьником, играл беспризорника в пьесе Александра Крона «Винтовка 492116». Конечно, играл я ужасно, как понимаю теперь... Но импровизацией, подражанием, дуракавалянием я занимался усиленно.

В Щукинское я поступил в то самое лето, когда снимался в фильме «Я шагаю по Москве», в 1962 году... Только позже, перейдя во ВГИК, я в полной мере оценил, каким это училище было замечательным.



Народный артист РСФСР Борис Захава (в центре) со студентами театрального училища имени Б. Щукина. 1964 г.

На вступительных в Щукинском читал Михаила Светлова: «Молодой уроженец Неаполя! / Что оставил в России ты на поле?..» Из прозы я читал Пришвина «Иван-да-Марья», а басню читал... Сергея Михалкова. Тогда для меня это был некий парадоксальный шаг к личной независимости:

собственно говоря, а почему я должен читать другого!..

Отборочными турами руководил преподаватель по фамилии Бенинбойм. Мастерами были Леонид Моисеевич Шихматов и Вера Константиновна Львова.

Меня выгнали с четвертого курса из-за съемок в кино. (Сниматься в кино во время обучения всем студентам «Щуки» строго воспрещалось.)

Мы тогда уже начали самостоятельно ставить спектакль, и тут меня запретили пускать в училище. Поэтому постановку я заканчивал тайно...

К тому времени у меня уже созрела мысль уйти на режиссерское отделение, и я понимал: если я окончу «Щуку», то обязан буду после училища еще три года проработать в театре (по распределению), прежде чем смогу поступать в другой вуз.

Поэтому я не стал ничего делать для того, чтобы Борис Евгеньевич Захава, тогдашний ректор «Щуки», отменил свой приказ, хотя, как мне тайком говорили, он сам очень этого хотел. Но, конечно, для этого нужен бы повод – например моя просьба о прощении. Мне говорили: «Да пойди ты к нему!..» Но я сделал вид, что обижен. И с четвертого курса «Щуки» сразу поступил на второй курс ВГИКа.

Режиссуре я учился у Михаила Ильича Ромма

Его лекции (сами по себе поразительные!) для меня важны были не столько своим значением собственно учебного материала, сколько той органичной связью, какая существовала между личностью Ромма и всем его творчеством.

Всякий раз во время лекции мы, как замороженные, наблюдали этот удивительный, ни с чем не сравнимый процесс чудесной трансформации бесконечно милого человека и блистательного профессионала, но постичь это таинство молниеносного превращения нам не удавалось. И тогда мы сами с головой уходили в учебу, стремились больше читать, видеть, знать.



Сергей Эйзенштейн (слева) с Михаилом Роммом (справа) в павильоне киностудии «Мосфильм». 1940 г.

Думалось: а вдруг и у нас что-то выйдет?!

К сожалению, мы не всегда получаем столь сильный импульс к творчеству, учась в институте. Как часто, сами того не подозревая, мы устремляемся к некоей профессиональной усредненности, страшась выбраться из общего ряда, не быть «как все»...

Вот почему я бесконечно благодарен моему учителю, ко-

торый исподволь, казалось, одним только своим невероятным обаянием, подталкивал к поискам собственной индивидуальности, освобождал от обидного комплекса «похожести».

Главное – заставлял учиться, заниматься самовоспитанием.

Наш курс был последним во ВГИКе, который Михаил Ильич довел от начала до конца. Уже не очень здоровый, он приходил на лекции реже, чем в прошлые годы, и это обстоятельство вызывало у нас еще большее волнение перед каждым его приходом.

Он был удивительно прост и доступен в общении, но вне зависимости от этого каждое его появление ожидалось студентами так, словно «великий маэстро» появится в первый раз – столько было волнения и нетерпения в ожидании его.

Лекции Михаила Ильича были поразительными. Это были даже не лекции. Это было захватывающее общение с талантливейшим человеком, который не пытается кого-то чему-то научить, потому что научить режиссуре нельзя – это или есть, или нет в самом человеке... Как мало было в его лекциях общих слов, общих фраз, как много было упругого, напряженного пульса мысли, как зримо, живо, образно и чувственно он говорил! Всякое явление, даже не относящееся непосредственно к теме занятий, Михаил Ильич умел заставить работать именно на эту тему. Причем делал он это

с такой легкостью и изяществом, что никто не мог понять, как это делается, из чего состоят эти незримые стыки и сцепки, соединяющие тему урока с близким и знакомым нам миром. Из любой жизненной ситуации, из любого состояния – бытового, духовного, сиюсекундного... – он выстраивал тему, которая вдруг заставляла думать о крупности плана, цвете, звуке – обо всем том, из чего складывается кинематограф.

Его лекции, вернее, размышления вслух с примерами из литературы, кино, театра могли поначалу касаться лишь узкопрофессиональных проблем, но разговор всегда выходил на общечеловеческие темы. Получалось это оттого, что **Ромм не проводил границы между профессионалом и личностью, которую он пытался пробудить и воспитать в каждом из нас.** Режиссером для него был тот, кто мог выразить свою позицию средствами кинематографа.

«Режиссер не тот, – говорил Михаил Ильич, – кто хочет или «как все», или как угодно, только «не как все». Режиссер тот, кто говорит: «Вот как я себе представляю то или иное». И за это свое представление о мире режиссер должен нести персональную ответственность! За каждое свое слово! Тогда с ним можно соглашаться или не соглашаться, но только тогда ему можно верить».

Ромм ненавидел потребление во всем, особенно в искусстве. Мол, «я зашел тут на ваше кино поглазеть, вот вы

мне и показывайте», или «я пришел тут малость поучиться, вы меня и поучите». Он заставлял нас все время быть в упругом состоянии, не давая ни минуты на расслабление. Может быть, так было оттого, что его лекции в последние годы были более редкими, чем раньше, и он не хотел, чтобы мы теряли время, которого у него оставалось все меньше.

Ромма любили. Любили очень. И это было совершенно искренне, без тени подобострастия. Дело вовсе и не в общепринятом уважительном отношении к худруку курса... Его любили и старались делать это незаметно, деликатно, чтобы не поставить его, человека удивительно скромного, в неловкое положение.

Он умел всегда быть самим собой. На фоне этой естественности мгновенно проявлялась любая фальшь. Становилось вдруг ужасно стыдно от того, что всего-то пять минут назад на перемене ты говорил какие-то слова или совершал какие-то поступки, чтобы казаться не тем, кто ты есть.

Самое главное – Михаил Ильич никогда не стеснялся разбирать перед студентами те или иные свои собственные картины, в которых, как ему казалось, были допущены те или иные ошибки. И эта откровенность обескураживала и влюбляла в него еще больше.

Невозможно было не попасть под всепокоряющую силу его обаяния. А как замечательно он смеялся! Замечательно! Причем, едва отсмеявшись, оценив по достоинству смешную ситуацию, он начинал тут же ее развивать и своим острым

блестящим умом доводил до такого драматургического совершенства, что аудитория уже всю грохотала, а сам он просто плакал от смеха.

Ромм не просто шутил. Чувство юмора и, в частности, самоирония были неотъемлемой частью его натуры. Мне даже казалось, что он очень трудно переносил общение с людьми, у которых этих замечательных чувств не было.

Михаила Ильича не боялись. Он очень редко сердился, и в основном за оплошности и накладки. И самым страшным наказанием для нас была убийственная роммовская насмешка – всегда тонкая, точная и попадающая в суть явления, в самую его сердцевину. Испытавший на себе эту насмешку запоминал ее на всю жизнь. Но на Ромма не обижались никогда, потому что в его словах, пусть даже в самых язвительных, никогда не было желания просто обидеть, не было той злости, которая живет в людях самоутверждающихся. Он был столь же ироничен к самому себе. Это обезоруживало и создавало на курсе во время его лекций атмосферу общей доверительности и благожелательности.

Многие его фразы, рождавшиеся прямо во время лекций или частных бесед, становились афоризмами.

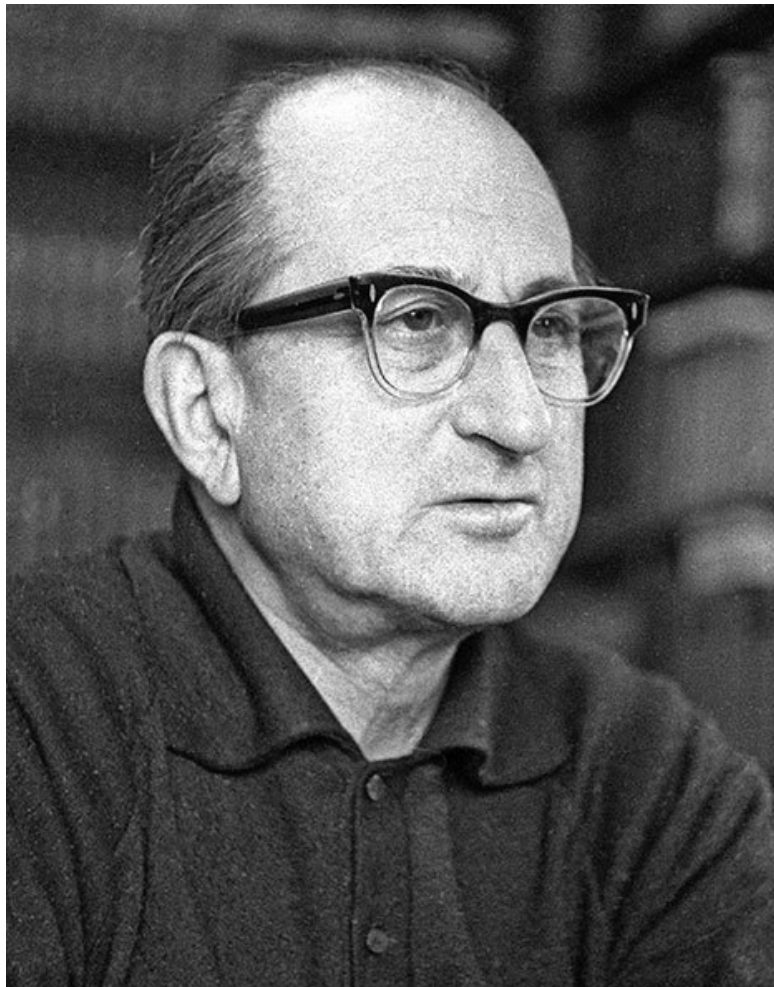
На курсе нас было довольно много, около двадцати человек. И каждый считал, что лекция читается именно ему.

И все мы стремились возможными правдами или неправдами попасть к Ромму домой. Летом на дачу, где, казалось бы, Михаил Ильич наконец-то мог сосредоточиться

на своей работе и не лицезреть всех наших физиономий, бесконечно приезжали студенты. Привозили ему груды «кинодраматургии» и иной «литературы», которую в лучшем случае написал кто-то из их друзей, а чаще всего они сами сочинили. И Ромм терпеливо беседовал с каждым.

В последний год нашего обучения мы видели Михаила Ильича все реже... С одной стороны, работа над фильмом «Мир сегодня» отнимала много времени, с другой – давали себя знать болезни.

Он всегда был всем нужен, а сил у него оставалось все меньше...



Михаил Ромм. 1960-е гг.

У нас была такая традиция – всегда его встречать. Когда приезжал Ромм (мы узнавали об этом заранее), кто-то из студентов, кому на этот раз выпала честь, шел вниз – выходил на крыльцо и потом сопровождал его до аудитории.

И вот однажды эта радость выпала мне.

Ромм пришел усталый, видимо, в ту пору он уже был очень болен. Я помог ему раздеться, и мы стали подниматься по лестнице на четвертый этаж. Все куда-то бегут, кто вниз, кто вверх: «Здрасте, Михаил Ильич», «Добрый день, Михаил Ильич! Как вы себя чувствуете?» Он отвечал, улыбался, вежливо со всеми раскланивался. В руках у него все росла кипа бумаг, которые без конца ему совали – «только посмотреть». А я шел рядом и про себя восхищался: «Какая интересная у Ромма жизнь! Как вообще все это интересно!»

Так мы добрались до четвертого этажа, подошли к дверям нашей аудитории, и вдруг он, повернувшись ко мне, спокойно сказал: «Господи, как же все это надоело. Когда все это кончится?» В том, что и как он сказал, была жуткая усталость, нечеловеческая. Никогда я не забуду этой фразы: «как же мне все...», не забуду пронзительную простоту и искренность, с которыми она была сказана.

В этот день была назначена его лекция. И я очень волновался, как же он будет ее вести: только я знал его страшный секрет, он был только мой, только я слышал эту фразу и то, как она была сказана.

Ромм вошел в аудиторию. Сел, помолчал. Вздыхнул и начал так: «Я болею, был сегодня в больнице».

Я думаю: «Господи, боже мой! Что же он скажет дальше? Неужели лекцию отменит? Неужели он действительно так плохо себя чувствует?»

Ромм тем временем продолжал: «Сию жду своей очереди к врачу. По коридору идет медсестра. Прошла мимо меня. Я проводил ее взглядом: она шла с общего плана, потом поравнялась со мной и стала уходить на общий план, уже в спину. И пока она приближалась, я пытался представить, о чем она думает. Приблизилась, и по ее лицу я понял – нет, не о том... И, провожая ее взглядом, уже по ее спине я вдруг понял...»

Трудно передать мое изумление: из рассказа о нудном сидении в поликлинике стал вырастать блестящий образ внутрикадрового монтажа. «Она шла издалека... вот о чем она думает?... приблизилась... вижу ее лицо... ошибся, она думает не об этом... и вот уже со спины...» и так далее.

Вся лекция оказалась посвящена внутрикадровому монтажу, одной из основ нашей профессии. И строилась она только на личном, личностном опыте.

И в этом тоже Ромм...

Надо сказать, что отношение Ромма ко мне было несколько особенным, потому что Михаил Ильич дружил с моей мамой. Они называли друг друга Мишенька и Наташенька

и дружили еще с тех пор, когда меня даже не было в планах.



Юбилейный вечер в Доме кино, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Ромма. 2001 г.

Никогда не забуду, как однажды я пришел к нему домой жаловаться на чью-то ужасную несправедливость, связанную то ли с моей учебной работой, то ли с оценкой отрывка сценического. Помню только общее свое ощущение: как всегда, что-то не ладилось, как всегда, казалось, что виноват кто-то другой, а не ты. Я рассказал ему то, что меня волновало. Он внимательно выслушал, а потом сказал: «Так это же колесо...» Я сразу не понял, что он имел в виду. Он продол-

жил: «Понимаешь, наша жизнь – это колесо телеги. А мы – это муха на ободке. Крутится колесо на солнце – муха думает, что солнце будет светить всегда, что она всегда будет греться на этом ободке, а потом вдруг шварк – в жижу, грязь, ужас!.. Но вот прошло время, и снова солнце, и опять муха сверху на колесе, и опять кажется, что будет вечно светло и тепло. А тут хлоп – опять грязь... Важно, куда катится сама телега».

Я навсегда запомнил эту метафору, и потом, когда в моей жизни происходили события, по поводу которых можно было и грустить и жаловаться, я тут же вспоминал слова Ромма о колесе и успокаивался: я проходил ту самую жижу и грязь, которую когда-нибудь сменит луч солнца.

Анастасия Вертинская

Мои отношения с женщинами не были мучительными. Никогда не было этакой тяги к самоистреблению, детально описанной в русской классической литературе. Думаю, что мои отношения с возлюбленными всегда были взаимны – в том смысле, что если они остывали, то с обеих сторон. Не было ни хлопанья дверьми, ни того, чтобы она возвращалась с чемоданом...

С Настей Вертинской мы учились на одном курсе в Щукинском училище (пока меня не выгнали), но познакомились раньше, еще до нашего поступления.

Мой старший брат Андрон ухаживал за Марианной, старшей сестрой Насти, но ему нравилась и младшая. Мой бедный брат разрывался, как двуглавый орел, поглядывая то в одну сторону, то в другую.

Марианна была раскованная, веселая, компанейская. Настя рядом с ней выглядела закрытой, сдержанной. Может быть, дело здесь было в том, что тогда она уже начала сниматься, ощутила вкус обрушившейся славы, знала себе цену и держала поклонников на расстоянии.

Обстоятельства первой нашей встречи давно стерлись из памяти, запомнился лишь тот неопровержимый факт, что я был отвергнут. Точнее, даже не отвергнут, а просто не замечен. Словно и нет меня на свете. Мы пребыва-

ли, что называется, в разных «весовых категориях». После «Алых парусов» по Насте сходила с ума вся страна, стоило ей появиться где-нибудь, тут же вокруг нее образовывались восторженные толпы. Вскоре к роли Ассоль прибавилась не менее яркая Гуттиэре из «Человека-амфибии». Настя много гастролировала, с творческими бригадами объезжала весь Советский Союз... Уже шла работа над «Гамлетом», Настя готовилась к съемкам. Подумать только! Шекспир, Козинцев, Офелия!..



Студентка театрального училища Анастасия Вертинская (в центре) руководит факультетским хором. 1964 г.



Киноактрисы Марианна и Анастасия Вертинские. 1964 г.



Анастасия Вертинская в роли Ассоль в фильме «Алые паруса». 1961 г.

А кем был я? Мальчиком из «Приключений Кроша» и «Туч над Борском»? Смешно! Несопоставимые величины!

Конечно, фильм «Я шагаю по Москве» пользовался успехом, меня начали узнавать на улицах, но это было несравнимо с популярностью Насти! Я понимал, что не бывать нам вместе: слишком уж высоко она взлетела...

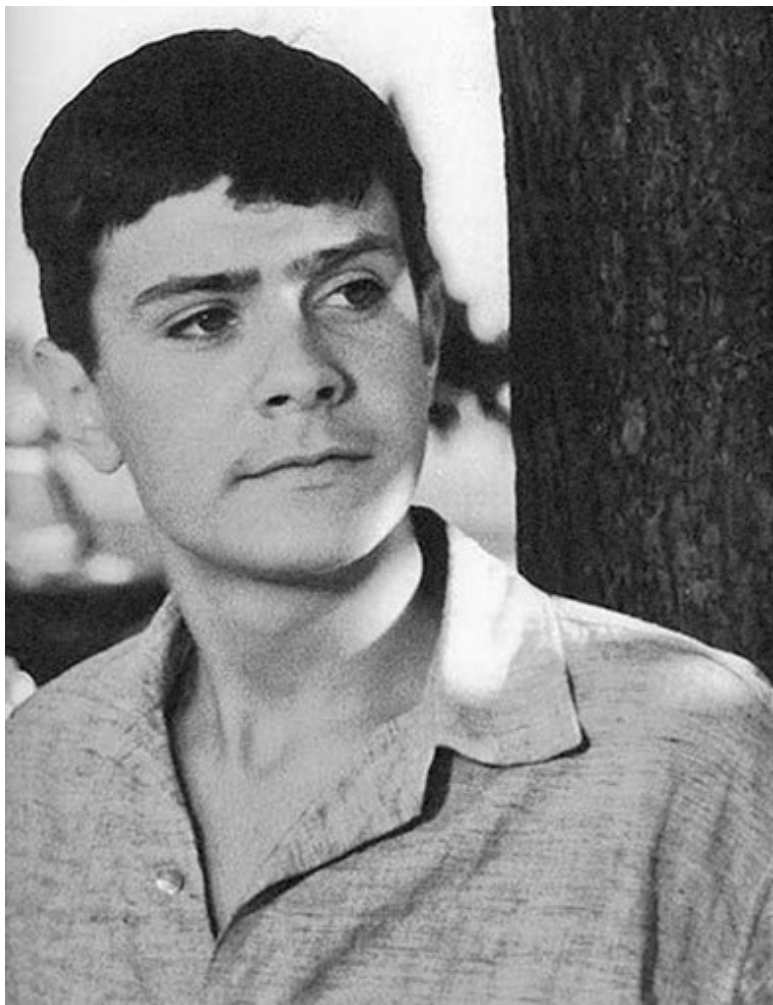
Признаться, эта недостижимость Насти тогда сильно меня «обломала», внутренне осадил. Там не было и призрачного шанса на победу!.. Я мог разве что набить морду кому-ни-

будь из очередных Настиных ухажеров. Так сказать, «для самоутешения». И бил.

Хотя многочасовое ожидание с букетом цветов у подъезда в надежде на случайную встречу не мой жанр, под Настиными окнами я выстоял достаточно. Не знаю, любила ли она меня когда-нибудь так, как я в нее был влюблен. В то время у нее был такой выбор! Такой пасьянс лежал перед ней... Она могла «снять с полки» любого. Но именитость ей была не важна и не нужна, она сама была дочкой Вертинского.

Что ж? Нет так нет, не судьба. И, как это порой бывает в молодые годы, какое-то время я про себя повторял: «Ничего, когда-нибудь ты пожалеешь об этом. Вот стану...» – далее шли варианты: Героем Советского Союза, маршалом Жуковым, гениальным артистом, певцом и так далее, и тому подобное. (Вообще, еще в школьные годы, когда было мне трудновато учиться и когда, надо сказать, совершенно заслуженно меня унижительно отчитывали учителя, мне снилось после, будто я Герой Советского Союза и в бурке на коне по лестнице въезжаю на четвертый этаж своей школы – мой конь приносит меня прямоком в класс моей главной обидчицы, математички, и я, приоткрыв полу бурки, небрежно демонстрирую ей Золотую Звезду Героя. Кстати, может быть, эти сны и послужили подсознательным прообразом сцены в картине «Урга», когда один из героев въезжает в гостиницу верхом на лошади.)

Вот так и Настя со временем должна была горько пожалеть «обо всем». А пока... нет, значит, нет. За ней в это время ухаживал то ли Андрей Миронов, то ли Смоктуновский (а может, и оба) – в общем, кто-то из людей недосягаемых. И может быть, Насте назло, а может, чтобы самому забыть-ся, у меня даже случился роман с одной нашей общей подружкой – Леной, талантливой балериной, впоследствии сделавшей блистательную карьеру в качестве хореографа лучших танцевальных пар в фигурном катании.



Никита Михалков в главной роли в фильме Г. Данелия

«Я шагаю по Москве». 1963 г.

Отношения были вполне романтические, но очень спокойные. Лена – девушка тихая, добрая, умная. Не так знаменита, как Настя, но по всем человеческим качествам Лена была совершенно замечательной. У нас сложились отношения, не предвещавшие резких изменений. Вскоре я уехал в Самарканд, на съемки в фильме о войне под названием «Перекличка» (кстати, снимался я там вместе с Марианной Вертинской), писал оттуда письма Лене, она мне тут же отвечала, все было чрезвычайно трогательно...

Прошло довольно много времени, и, как это часто бывает, повседневные заботы, съемки, учение в институте, общение с друзьями, как мне казалось, постепенно погасили мою страсть к Насте. Я с удивлением обнаруживал, что доходившие до меня слухи о том, «с кем она ходит», не так меня мучили и волновали, как это бывало прежде. Я решил, что излечился.

И вот, с увлечением отснявшись в «Перекличке», я вернулся в Москву и сразу попал (разумеется, вместе со своей барышней) на день рождения Вани Дыховичного. Компания там подобралась веселая, одна Вика Федорова чего стоила! Все шутили, хохотали, выпивали, вспоминали какие-то истории. Ваня Дыховичный рассказывал анекдоты, показывал скетчи. Все развивалось бы и дальше в этом естественном русле, если бы не одно обстоятельство...

Когда вечеринка была уже в полном разгаре, раздался звонок в дверь, и в комнату вошла Настя в сопровождении Андрея Миронова. Они сели за стол – я оказался наискосок от них. Внешне все было чрезвычайно дружелюбно, спокойно и не предвещало неожиданностей. Но случайно глаза наши встретились, потом еще раз... **И вот я снова почувствовал ее взгляд – теперь долгий и пристальный. Дальше провал, потеря сознания наяву.**

Я очнулся на лестничной клетке этажом ниже квартиры Дыховичного. **Мы стояли у окна, обнявшись, и целовались, бесконечно и неудержимо...** Если бы это было летним днем, я назвал бы случившееся солнечным ударом. Я никогда потом не спрашивал Настю, что тогда произошло, как не спрашивал ее и о том, почему она пришла туда – намеренно или случайно. Смешанное чувство удивительного счастья и страшного греха меня не покидало.

Мы соединились, и нам было невероятно, волшебно, а Лена в одночасье оказалась за скобками моей жизни... Ощущение вины перед ней не оставляло меня всю мою жизнь. Не оставляет до сих пор.

Не оправдываю себя, но с Настей мне попросту снесло крышу.



Анастасия Вертинская. 1965 г.

На день рожденья Вани мы уже не возвращались. Она меня буквально увела оттуда — хотя дело, конечно, не в том, кто кого увел, было ясно, если бы она этого не захотела, никогда в жизни ничего бы не случилось. Во мне не имелось той силы обаяния и многих других качеств, которые могли бы ее покорить. Но я помню ощущение того электрического вихря, того космического магнетизма, которое возникло...

С того момента, как мы вышли от Дыховичного, я уже летел кубарем, не разбирая дороги. Я даже не вполне отдавал себе отчет, что со мной происходит, на каком свете нахожусь...

Оглядываясь, понимаю, что не в состоянии вычленить из той кутерьмы отдельный день, неделю или даже месяц. Все слилось в сплошную гулянку — мы с Настей кочевали из одной компании в другую: пили, пели, говорили. Я, правда, еще дрался. Бесконечно! Пил и бил. За что? Да за все! За слово, за взгляд... Серьезного повода мне и не требовалось. Я, как пионер, всегда был готов, на боевом взводе. В милицию попадал — со счета сбиться можно.

Жили мы сначала каждый у себя: я со своими родителями, Настя — со своими мамой и бабушкой. Никто не ставил нам условий, мол, сначала — под венец, потом — в постель. Но мы и сами понимали, что в наших семьях, да и вообще в стране существуют известные устои. Настя переехала в на-

шу квартиру на улице Воровского, только когда мы официально расписались. Свадьбу играли в «Метрополе»...

Мы начали жить у моих родителей и параллельно «строили кооператив» на улице Чехова. Правда, въехать в него так и не успели. К моменту окончания строительства пришлось менять эту общую новую квартиру на две отдельные, поскольку наша семейная жизнь дала окончательную и бесповоротную трещину.

Мы прожили вместе три года, но из них вместе-вместе – полтора. Почему так мало? Нет однозначного ответа. Наверное, мы оказались не готовы к ролям мужа и жены. Я тогда даже плохо понимал, каково это – иметь маленького ребенка, к чему это обязывает, хотя сейчас благодарен Господу, что Степа рано появился на свет...

К Насте я испытывал совершенно изумительные чувства, которые трудно выразить словами, как-то идентифицировать и определить. И очень боялся ее потерять. Многие молодые мужчины страшатся известия, что их девушка ждет ребенка, а я, узнав о Настиной беременности, был абсолютно счастлив. Шел по ночной Москве с идиотской улыбкой на лице и думал: «Все, теперь точно «не соскочит», будет моей, никуда не денется!»

Общеизвестна истина, что трудно «в одной берлоге» ужитья двум сильным характерам. У Насти была своя, особенная и совсем нелегкая дорога, по которой она шла не сворачивая. «Современник», МХАТ, кино...

Как ни парадоксально, мы оказались очень разными людьми. Настя – сильная, целеустремленная, полная чувства собственного достоинства, умеющая выстроить отношения с миром вокруг. Нахожу эти черты и в себе, но все же я «с другой планеты». Не говорю, с лучшей или худшей, – с другой. Мы могли двигаться «по одной орбите», но только какое-то время...

Пожалуй, первая тень на наши отношения набежала после моего возвращения из деревни Ирхино Вологодской области. Кажется, в журнале «Новый мир» я прочитал очерк Юрия Черниченко о местных кружевницах и поехал к ним, прихватив с собой троих друзей, в надежде найти материал для съемок. (Увиденное очень потом помогло в работе над характером главного героя моей дипломной работы «Спокойный день в конце войны», которого сыграл Сережа Никоненко.)

Поездка произвела столь ошеломляющее впечатление, что, вернувшись рано утром домой, я не стал ждать, пока Настя проснется, а растолкал ее и принялся рассказывать взахлеб ей обо всем, что так потрясло меня в вологодской деревне.

Рассказывал о том, что в деревне, где поселились мы с друзьями, волею судеб среди женщин жил всего один мужик: конюх Толя. Хозяйка дома, в котором мы остановились, была солдатской вдовой. И с того дня, как муж ушел на фронт, она оставалась одна. Она не имела ни возмож-

ности, ни даже желания начать новую семейную, женскую жизнь. Взяла на постой нас, четверых парней, потому что таким образом можно было чуть-чуть заработать. Тогда это было абсолютно естественно. Неестественным же было то, что, как только мы у нее поселились, она фактически исчезла из дому. Приносила молоко, еду и тут же уходила. Мы же долго не могли понять, почему она так нелюдима, почему нас чурается? Только потом я понял, что она просто отвыкла за долгие годы от мужского присутствия и боялась, что в ней проснется то женское начало, которое она сознательно засушила, оставшись одна. И наша молодая шумная компания невольно разрушала одиночество, к которому она привыкла, покой и равновесие которого буквально выстрадала и теперь так боялась потерять.

Я рассказывал Насте о конюхе Толе. Его жена на вопрос о том, есть ли у того выходные, отвечала: «Как напьется, так и выходной!» – «И как же часто он пьет?» – «Да каждый день...»

«Так что же, у него каждый день выходной?» – «Каждый!» И тем не менее Толя оставался мужиком со всеми привилегиями мужика в северной деревне. Ему даже предоставлялся персональный банный день.



Никита Михалков и Анастасия Вертинская. 1966 г.

Я рассказывал Насте, что означает *«брякать между порам»*, то есть плести кружева в период межсезонья (между осенними и весенними полевыми работами). Я пытался изобразить перед Настей, как в вологодской деревне поют современные песни, заменив все непонятные слова на понятные. Например, в строках *«И я бросаю камушки с крутого*

бережка / Далекого пролива Лаперуза...» название непонятного им пролива они заменяли на «пролива Ленируза...» – то есть пролива, названного в честь Ленина.

Я говорил и говорил обо всем, что меня потрясло, что в определенном смысле начало формировать во мне ощущение изумительного, невероятно глубокого и волшебного-одухотворенного мира русской деревни, – обо всем, что было еще так чудесно и естественно тогда и стало так жестоко разрушаться в последующие годы...

...Вдруг я поднял глаза и увидел вежливую снисходительно-печальную улыбку Насти. Наверное, с таким видом в чеховском «Дяде Ване» Елена Андреевна слушала доктора Астрова, рассказывавшего, как русские леса трещат под топором. Осекшись на полуслове, Михаил Львович закончил тогда свой монолог: «Все это, вероятно, чудачество, в конце концов...» Вот так и со мной: реакция Насти меня надломляла. Смешно, правда?

Из сказанного совершенно не следует, что я прав, а она – нет. Разбудил ни свет ни заря человека, нес какую-то ахинею и требовал живого участия. В принципе, Настя могла сразу послать меня далеко-далеко, но не сделала этого. Слушала, хотя хотела спать. Готов встать на ее сторону, все понять и оправдать, но... Степень моего восторга и возбуждения была так высока, что встреченные снисходительность и отстраненность пришлось бы впору разве что совсем чужому человеку. Вот с этого момента что-то в наших отноше-

ниях и надломилось.

...В очередной раз мы крупно поссорились с Настей, и я вдруг решил: хватит. Отцедил у мамы нашей фирменной «кончаловки». Сразу выпил один стакан залпом, вмиг захмелел. Только не остаться дома!..

Я позвонил моему другу Сереже Никоненко и попросился к нему переночевать. Он долго, безуспешно объяснял мне, как к нему проехать, а я все меньше и меньше его понимал. Тогда он, решив не тратить время, сказал: «Я к тебе иду. Ты будешь где?» Я ответил: «Я буду на улице». Оделся, сунул бутылочку с «кончаловкой» в нагрудный карман пальто и вышел в морозную ночь.

Пустое Садовое кольцо. И висящий светофор, провода от которого тянутся к милицейскому «подстаннику». Не знаю почему, может быть, потому, что чудом сообразил, что вполне могу сегодня замерзнуть, я направился к этому подстаннику. В столь поздний час постового в нем не было, я поднялся по короткой лесенке, нажал на ручку двери. Она была заперта, но, судя по всему, совсем на живую. Дернул посильней – дверь открылась. И я забился в этот «подстанник»: маленький, узкий, с какими-то кнопками переключателей. С высоты двух с половиной метров было прекрасно видно заснеженное Садовое кольцо и расходящиеся от него улицы: Герцена (нынешняя Большая Никитская) и Поварская (бывшая Воровского). Светофор был поставлен на автоматический режим и, пощелкивая тумблером, мигал

желтым светом. Машин почти не было, впрочем, как и пешеходов. Я потрогал рычажки, одним из них светофор переключился на красный, и я стал ждать. Вот появилась одна машина, через довольно большой интервал времени вторая, третья. Стоя за полночь на красный свет, водители, я полагаю, с изумлением и нарастающим раздражением матерились, потому как никакие другие машины и не думали пересекать их путь на свой «зеленый». Так, поизмывавшись вдоволь над водителями, я опять повернул тумблер. Загорелся желтый свет, потом зеленый, и машины, виляя на подмороженном заснеженном асфальте, рванули в сторону Смоленской площади.

Я еще какое-то время экспериментировал с рычажками... И вдруг увидел маленькую фигурку в легком пальтишке и пирожке (почему-то Сережа носил «взрослый» пирожок), быстро идущую ровно посередине Садового кольца. Сережа шел по направлению к улице Воровского и постоянно озирался, ища меня взглядом. Я приоткрыл форточку в «подстаканнике» и что было мочи заорал: «Стой! Кто идет?!» Сережа остолбенел – он никак не мог понять, откуда раздавался голос. Наконец заметил меня, и мы начали хохотать... Он поднялся ко мне в «подстаканник», где мы и допили «кончаловку», а потом отправились к нему на Сивцев Вражек, в его потрясающую коммунальную квартиру, населенную незабываемыми персонажами, среди которых я с того момента прожил ровно полгода.

Кто из нас с Настей первым произнес слово «развод», я не помню. Наши отношения медленно, но верно сошли на нет, лишая необходимости делать какие-либо заявления. И так все было ясно. Не вспомню даже, кто из нас в суд подал...

По количеству желающих занять место в зале суда наш бракоразводный процесс напоминал премьерные спектакли МХАТа. К счастью, формальная процедура не затянулась.

А до этого Настя оставалась в квартире моих родителей на Воровского. Ситуация сложилась занятная: я собрал вещи и съехал, Степа жил у Настиной мамы... Так продолжалось несколько месяцев.



Анастасия Вертинская. 1969 г.

Надо заметить, что мои родители абсолютно не вмешивались в наши конфликты. И, когда я паковал чемодан, никому в голову не пришло задаться вопросом: а на каком, собственно, основании ухожу я? Такое даже теоретически невозможно было вообразить. Не представляю, чтобы мама сказала: «Никита – наш сын, это его дом, а ты, Настя, теперь здесь чужая». Исключено! Они продолжали общаться, будто ничего и не случилось. Я периодически звонил, разговаривал о том о сем, но ни от кого ни разу не услышал: «Возвращайся». И у меня это не вызывало вопросов. Ясно слышалось в этом молчании родителей: твое решение, сам за него и отвечай.

Только через полгода нас с Настей официально развели, я от Сережи Никоненко вернулся домой... Словом, что упало, то пропало. Для нас с Настей начиналась новая жизнь, но уже порознь.

К Насте у меня навсегда осталось чувство, которое ни с чем не сравнить. Это уже не любовь, а нечто... совершенно особенное.

Где это хранится и как проявляется?

Могу годами не думать о Насте, не видеть ее, а потом случайно встретить и – словно и не расставались. Такие вещи не поддаются ни контролю, ни анализу, что-то неожиданное вдруг всплывет из памяти... Так или иначе, Настя остается частью моей жизни... и Таню, думаю, это поневоле трево-

жит.

Бывшие и нынешние жены часто превращаются в заклятых врагов. Нужно иметь много опыта, силы воли, ума, тонкости, чтобы побороть негативное чувство к сопернице, пусть и с приставкой «экс». Прошлое не вычеркнешь, значит, должна быть оставлена ниша для того, что случилось когда-то в душе и судьбе супруга. Это в идеале. На практике же чаще все иначе...

Но моя мудрая Таня всегда умела эти неоценимо важные в семейной жизни нюансы понять. А в иных случаях... просто терпеть.

Когда я встречаю теперь Настю, я испытываю замечательное чувство светлой ностальгии. Тем более что вырос сын, который умно и иронично относится и к нашим тогдашним отношениям, и к сегодняшним. И к ней отдельно, и ко мне отдельно.

Тихоокеанская служба

«Я давал присягу...»

Мой отец сказал мне, а ему – его отец: «Михалковы на службу не напрашиваются, от службы не отказываются».

Это очень точно. Фактически это присяга.

Ты должен всю жизнь соответствовать этому нравственному знаку...

Я всегда считал, что любой мужчина, который хочет продолжать жить в нашей стране, должен пройти армию.

Речь идет даже не о том, что его должны там воспитать, – просто дело в том, что **армия всегда была для России не столько средством нападения и защиты, сколько образом жизни.** И недаром малолетние великие князья ходили в мундирчиках тех или иных полков, а потом, повзрослев, становились их покровителями.

Для меня возможность прикоснуться к этому – во многом вещь символическая, метафизическая. Так что я не жалею ни об одном из дней, проведенных в армии.

После двух высших образований я прослужил полтора года на флоте, на Тихом океане. В свое время циркулировали различные слухи о том, что отец как-то в этом участвовал. Все это неправда, он даже понятия не имел, куда

я отправлен служить, – до тех пор, пока мне не разрешили писать письма из учебки.



Матрос Никита Михалков во время службы на Тихоокеанском флоте

Но через много лет, действительно, именно я «помог» своему сыну Степану оказаться на Дальнем Востоке в морских погранцах на три года. Я понимал, что это было для него единственным спасением.

Моя подробная армейская история, бог даст, еще впереди. Я когда-нибудь издам свои «записные книжки» – дневники, которые вел в армии, а потом их двадцать лет прятал, ведь если бы их обнаружили, мне бы мало не показалось. Тогда и станет понятно, что в 1972 году я по своим убеждениям не сильно отличался от времени нынешнего.

«Итак, я должен был идти в армию...»

Я был приписан в Алабино, в кавалерийский полк, где в основном служили дети кинематографистов и других творческих работников, получившие творческую профессию. Это было решено априори, и я пребывал в полной уверенности, что именно туда и попаду. Так как я учился и снимался, у меня была отсрочка. Но она перестала действовать, как только я окончил институт. Мне было двадцать шесть лет, и военкомат торопился меня отправить в армию, потому что еще немного, и исполнится двадцать семь, а это уже возраст, после которого призвать на срочную службу нельзя.

Все шло своим чередом. Я снимался у Сережи Соловьева в картине «Станционный смотритель» и ждал окончания съемок. Сережа так рассчитал график, что к моменту, когда меня заберут в армию, он закончит снимать. Хотя, как правило, если актер, который попадал в кавалерийский полк, не успевал закончить съемки, его отпускали на «Мосфильм» завершить работу. Так у меня снимался Кайдановский в картине «Свой среди чужих» — он одновременно проходил срочную военную службу.

Но случились обстоятельства, которые я не мог вообразить даже в самом фантазийном и замысловатом сне. Дело в том, что в это время у меня был роман с Олей По-

лянской — замечательной девушкой: красивой, нежной, умной, спокойной, с прекрасным чувством юмора и абсолютно потрясающим взглядом на мир, самостоятельным и очень оригинальным. Как выяснилось, единственный ее недостаток заключался в том, что она была дочерью крупного партийного чиновника, кандидата в члены Политбюро. И меня лично это сильно напрягало. Мне не хотелось, чтобы так или иначе моя жизнь, поступки и творческая биография в какой-то мере могли определяться высокопоставленным тестем. Я не знал, как сказать об этом Оле напрямую, что-то мешало мне, и я решил написать ей письмо. В нем я сообщал о том, что очень дорожу нашими отношениями, что бесконечно благодарен ей за те прекрасные дни.

Я несколько раз бывал в их доме и запомнил миленькую старушку, дежурившую у лифта. Мне и в голову не могло прийти, что просто так милые старушки на работу лифтерами в такие дома не попадают. Короче, я отдал конверт с этим письмом этой Марьванне и ушел. Она любезно его приняла, улыбнулась, сказала, что обязательно письмо передаст.

А через какое-то время начали происходить совершенно непонятные для меня вещи. Особенно когда пришла пора идти мне в армию...

Как только я узнал, что меня забирают в стройбат в Навои, вне себя от возмущения отправился к начальнику сборного пункта. С трудом держа себя в руках, спросил о причине такого решения.

– А твое какое дело? – отвечает он. – Ну записали тебя сначала туда, а потом сюда. И чего?!

Я говорю:

– Но это стройбат в Навои! У меня два высших образования, я же могу пригодиться в другом месте! А не лопатой там махать!

А он усмехнулся в ответ:

– Да ты, Михалков, просто в Москве остаться хочешь?

Это оскорбило очень.

– Какая самая дальняя команда? – спросил я.

– Во флот! На Камчатку не желаешь?!

– Желаю! – выпалил я, не раздумывая. – Записывайте туда!

Теперь настал его черед понервничать. (Видимо, такого распоряжения насчет меня не поступало.) Впрочем, он быстро сообразил, как снять с себя ответственность за мою отправку на Тихий океан.

– Пиши заявление, – протянул он мне чистый лист бумаги.

И я написал заявление...

Капитан-лейтенант, приехавший за призывниками с Камчатки, только начал набирать свою команду, и я остался ждать, когда он ее укомплектует.

Не знаю, как теперь, но в тот год городской сборный пункт являл собой странное зрелище. Представьте: ворота, проходная КПП, «человек с ружьем», высокий и крепкий за-

бор простирается налево, направо... — короче говоря, ого-роженное с трех сторон пространство, вход по удостоверению, выход по удостоверению, а тыльная сторона «режимного учреждения» упиралась... просто в лес! Без всякого забора. Точнее, какие-то звенья забора имелись, но в общем и целом забор с тыла был не достроен. Через широкий проем совершенно спокойно ходили товарищи призывников, носилась водка (нередко ящиками!), заходили девушки... В эти душные и дымные в буквальном смысле дни (в это время горели торфяники, и Москва была чудовищно задымлена, поэтому стояла практически пустой) меня тоже навещали товарищи — и Паша Лебешев, и Саша Адабашьян... Конечно, приходили они не с пустыми руками.

Постепенно призывники сбивались в команды и отправлялись в разные концы страны, и почему-то только нашу, камчатскую, бригаду никак не удавалось сформировать до конца. В конце концов на городском сборном пункте остались только мы.

В первую ночь я ночевал на ГСП — в пустой казарме, а на второй вечер попросился у дежурного отпустить меня в город. Дал слово, что обязательно к утру вернусь. Причем слово он взял не только с меня, но и с моего сопровождающего.

Здесь необходимо пояснить, что в Москве (не знаю, как во всем СССР) раньше в период призыва на срочную службу практиковался такой метод: некоторые из военно-

обязанных сотрудников городских предприятий и институтов, вызываясь на сборы, получали задание – помогать военкоматам в организации работы, в частности, присматривать за ожидающими своего часа призывниками. Вот и ко мне был приставлен такой сопровождающий. Это был еще молодой, но уже довольно тучный сотрудник одного из московских НИИ.

Итак, мы отправились с ним в Дом кино. Там я давно уже был своим человеком, для моего сопровождающего это был дебют в пространстве «кинематографической элиты», поэтому он совершенно расслабился – напился до того, что мне самому пришлось его «сопровождать» до дома.

Вернувшись уже самостоятельно на ГСП, там переночевал, но... ни утром, ни в течение дня камчатскую команду снова не сформировали. А поэтому и на следующий вечер я, точнее, мы с сопровождающим вполне закономерно оказались в ресторане Дома кино...

Этот сценарий повторялся несколько дней кряду. День я проводил на ГСП, а вечерами вывозил моего «приятеля поневоле» в Дом кино. Порой даже оставался ночевать дома. Мне казалось, что я уже списан на берег!..



Здание Дома кино на Васильевской улице. 1970-е гг.

Мой сопровождающий, через несколько дней такой своей работы, просто изнемогал.

– Уходи ты в свою армию!.. – умолял он после тяжелого похмелья. – Не могу я больше! Пьем каждый день!.. Жена уже косо смотрит!

Я старался его приободрить:

– Ну, может, заберут сегодня!

В один из тех жарких и дымных вечеров, когда мы, уже не выходя с ГСП, пили водку, а мой сопровождающий как-то особенно быстро сникал, произошло нечто совсем

уже странное.

Кто бывал когда-либо в таких заведениях, как городской сборный пункт, знает, каковы там туалеты, помнит длинные в десять-пятнадцать метров писсуары с отколотыми плитками, в которых всегда журчит вода.

И вот, зайдя в тот вечер в туалет на ГСП, я случайно заметил: в самом углу этого длиннющего писсуара что-то «знакомое до слез» трепещет. Сделав несколько шагов в том направлении, я понял, что это. Чей-то военный билет.

Осторожно достав этот билет из писсуара, я раскрыл его красные корочки... и обомлел. Военный билет был не «чей-то», а мой!

Здесь необходимо пояснить, что в тот период, когда призывники находятся на ГСП, те люди, которые их отправляют, обязаны иметь их военные билеты при себе – с тем чтобы передать начальнику команды, с которым призывники поедут к месту службы.

И вот я почему-то (без единого свидетеля этого факта!) снова держал свой военный билет в руках. И тут же **вспомнил слова мамы: «Если тебе что-то катится в руки просто так и ты без всяких затрат можешь протянуть руку и взять, подумай, сколько из десяти людей от этого не отказались бы. Если насчитаешь больше пяти, откажись».**

Я подумал, что намного больше пяти людей воспользовались бы возможностью абсолютно безнаказанно этот би-

лет выкинуть, порвать, спустить в унитаз. Пока медкомиссия, пока то да се... Можно включить еще какие-то рычаги – потянуть время, а в октябре стукнуло бы двадцать семь!

И вдруг я совершенно отчетливо понял, что это искушение. Я высушил на солнце военный билет и вернул его в растянутый портфель мирно спящего моего сопровождающего.

На другой день, чтобы как-то разнообразить наш досуг, я предложил:

– Хочешь, с Высоцким познакомлю?

– Да ладно?!.

Мы пошли на Таганку. Спрашиваю на вахте:

– Володя здесь?

– Да, здесь.

– Пожалуйста, скажите ему, что Никита пришел. Я в армию ухожу.

Высоцкий спустился, причем сразу с гитарой, спел нам несколько песен, мы выпили... Помню только, что на сборный пункт я транспортировал сопровождающего уже на троллейбuse.

В тот вечер я остался ночевать там – так как на другой день нужно было улетать.

Однако вернемся к первопричине этих и последующих приключений, то есть к старушке-лифтерше. Конечно (и совершенно естественно!), старушка передала эти письма, так сказать, кому следует. Их посмотрели. Не знаю, показы-

вали ли их отцу Ольги, или все решалось не на столь высоком уровне, но с этого момента (о чем я узнал потом, когда через много лет поднял архивные документы, связанные с этой историей) **я был включен в список неблагонадежных, от которых очищали Москву в связи с приездом Никсона, президента Соединенных Штатов.**



Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке

Конечно, мне было бы весьма лестно, что я занесен в спис-

ки тех, кто на площади Маяковского вольнодумные стихи читал, да только я там никогда в жизни не был.

Проституток тогда отправляли за сотый километр, а неблагонадежных, как могли, рассовывали, так сказать, куда попало. Вот таким образом **вместо кавалерийского полка я едва не угодил в стройбат, да вовремя уехал на Камчатку.**

...Стоя перед разглядывающим меня с удивлением начальником ГСП, я думал: «Что ни делается, все к лучшему. Когда еще за казенный счет я смогу побывать на Камчатке!»

Борьба за смирение

...В армии я полюбил писать письма. И не потому, что ты отправляешь знакомому или любимому человеку весточку о себе, а потому, что, сев за стол, начав писать, ты невольно формулируешь все то, что волнует в этих новых для тебя условиях: новые ощущения, новые отношения, новый быт, абсолютно новый взгляд на самого себя, твое новое положение в окружающем мире – непривычное, странное, иногда обидное, но невероятно важное для постижения сути твоего существования. К примеру, то, что будучи человеком с двумя высшими образованиями, уже снявшимся в определенном количестве фильмов и достаточно известным в кинематографическом мире (да еще с такой фамилией), оказавшись на плацу, в строю, перед старшиной первой статьи Толиком Мишлановым, ты совершенно растворялся в общей массе людей в бескозырках. Поначалу это было очень тяжело.

Дело даже не в том, что тяжело вскакивать с койки по команде «Подъем!» или бегать по плацу в сапогах, а тяжело с точки зрения принятия своего бесправного положения. И здесь невероятную помощь мне оказывали усвоенные в детстве уроки: отцовское «От службы не отказывайся, на службу не напрашивайся» и поразительной мудрости слова матери: «Никогда не обижайся! Если тебя хотели обидеть, не доставляй удовольствия тому, кто этого хотел, а если

не хотели, то всегда можно простить».

Именно эти два правила стали для меня в определенном смысле оберегами, теми спасительными маяками, помня о которых я научился и смирять гордыню, и управлять своим буйным характером. Причем не из страха наказания, наоборот! (Неотвратимость наказания мне обычно только добавляла куражу.)

Поначалу эта борьба за смирение проходила совсем не легко. Но постепенно я приучил себя даже получать от этого удовольствие. Как ни странно, я взял за основу образ Швейка, такого нарочито исполнительного дурака. Сначала это было похоже на игру, а потом я вошел в этот образ, и он мне показался невероятно привлекательным и удобным, для того чтобы существовать в этих условиях достаточно свободно и легко. Занятно, что эта покорность и смирение поначалу вызывали настороженность (и даже некий злой азарт) у старшин, которые распоряжались в нашем экипаже. Они интуитивно чувствовали что-то не совсем естественное в том, с какой легкостью и удовольствием человек кидался выполнять их бессмысленные приказы, такие, например, как «продувать макароны», или что-то наподобие того. Тогда приходилось выходить из положения, не разрушая образа, то есть хитрить.

Например, к тому времени я давно бросил курить (причем бросал не один раз), но перекур для тех, кто начинает служить в армии, – святое дело, равно как обед и киносеанс.

И вот как-то во время занятий строевой подготовкой на плацу старшина Мишланов объявил перекур, и все расселись на травке около плаца, рядом с бочкой для окурков. Поискав глазами некурящих, Мишланов быстро выхватил меня из общей массы и сказал: «Матрос Михалков, тебе все равно делать нечего, сбегай, принеси мне...» – уж не помню что – сигареты, спички, свежую прессу, бушлат или что-то другое. То, за чем он меня посылал, было как минимум на другом конце плаца. А кто не знает: по плацу если один, то бегом, если вдвоем, то строем. Просто так прогуливаться там, по крайней мере у нас, было категорически запрещено. Вот я так пару раз побегал то за этим, то за тем (все курят – я бегаю, приношу, докладываю), и в один прекрасный день, едва при очередном перекуре Мишланов собрался меня куда-то отправить, я говорю:

– Извините, товарищ старшина, я курю.

– Как? Ты же не куришь!

– Нет, уже курю.

И тут же стрельнул у кого-то папироску, прикурил и тем самым как бы снял вопрос о том, должен я или не должен куда-то бежать. Ведь я, как и все, в настоящий момент имею право отдыхать: я и сижую-курю.

Таких случаев было довольно много, когда, не конфликтуя и не споря, что только озлобляет человека, имеющего над тобой власть (особенно в армии, особенно «деда», как называли и называют до сей поры старослужащих),

ты разворачиваешь в свою пользу ситуацию, при этом развивая у себя ту самую смекалку, которая в других условиях, более тяжелых и серьезных, частенько выручает солдат.

Итак, письма были единственной отдушиной. Я постепенно втянулся в переписку, особенно с братом. Мне казалось, что мой монолог в письме чудесно превращался в диалог с ним. Рассказывая ему о своих невероятных испытаниях, я представлял, как он все это слушает и что может ответить.

Постепенно это вылилось в довольно оживленную переписку, которая очень помогала мне осмысливать свои впечатления, заодно эмоционально освобождая от них мою душу.

Впрочем, вскоре мне стало не хватать эпистолярной отдушины, и я завел дневник и вел его почти каждый день. Особенно часто делал записи во время похода с юга Камчатки до севера Чукотки...

Эта сложнейшая экспедиция, на собаках и на оленях, была организована благодаря Зорию Айковичу Балаяну, в будущем – прекрасному писателю и общественному деятелю, в те времена работавшему на Камчатке врачом. Так что я благодарен судьбе, забросившей меня на берега Тихого океана, в том числе за встречу с этим уникальным человеком.

...Я хорошо помню, как Зорий вместе со своим другом, капитаном небольшой яхты «Дельфин» Вячеславом Пантелеевым, летом 1972 года чуть ли не ежедневно выходил в знаменитую Авачинскую бухту. Мне тогда посчаст-

ливилось по выходным, когда я получал увольнительные, несколько раз выходить с ними на яхте в море.

Вот что писал Зорий о тех днях наших походов в своей книге «Белый марафон»: «Дух захватывало каждый раз, когда приближались к Трем Братьям – трем гигантским скалам, стоящим бок о бок у входа в открытый океан. Туда нас всегда тянуло – на простор, где и цвет воды другой – более небесный, где и волны покруче, и белые «барашки» побелее и покрупнее! Но слишком маленький наш «Дельфин». Он даже меньше тихоокеанского «барашка». Да и не делается это просто так – захотел и вышел в океан. А главное – тогда у нас была другая цель, другая дорога».

Да, тогда у нас была другая дорога. Однажды на яхте Зорий вдруг сказал, что скоро сделает мне замечательный подарок. Он попросил капитана «Дельфина» выйти из Авачинской бухты на несколько кабельтовых в открытый океан. И уже там попросил, чтобы я спел из фильма «Я шагаю по Москве» строки:

*А я иду, шагаю по Москве,
Но я пройти еще смогу
Соленый Тихий океан,
И тундру, и тайгу...*

После того как я исполнил его просьбу, Зорий убежденно подытожил:

– Вот, ходим сейчас по Тихому океану, но, несомненно,

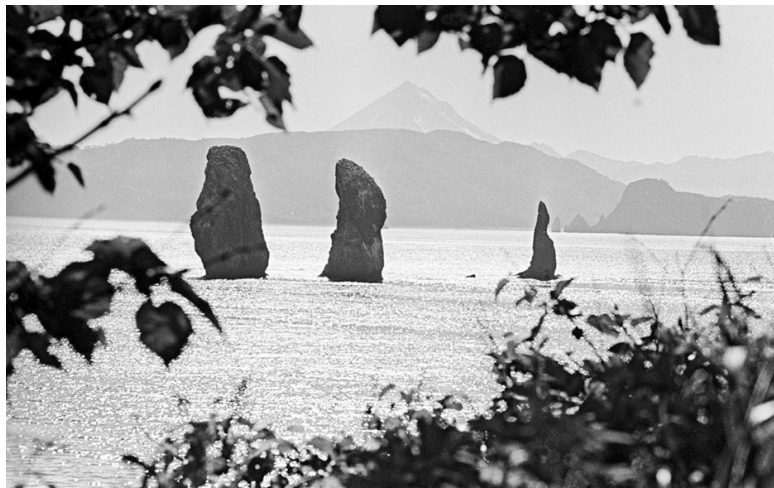
пройдем и тундру, и тайгу!

Через несколько месяцев мы прошли и тундру, и тайгу.

Я и впрямь получил, может быть, самый бесценный подарок в моей жизни. Слова гениального Гены Шпаликова из песни, которую я пел в фильме «Я шагаю по Москве», песни, которую пела вся страна, оказались пророческими благодаря Зорию.



Зорий Балаян через много лет после описываемых событий



«Три Брата» – скалы в Авачинской бухте у выхода в открытый океан

Ледяной поход

Легендарный наш поход на собаках и оленях – с юга Камчатки до севера Чукотки – длился сто семнадцать суток. Тогда нас в походе застали такие морозы, что... мы хлеб рубили топором. Малейшие признаки дороги пропали совсем, вокруг – снега по пояс.

В новогодние дни мы остановились в деревне Верхний Парень. Проживающие там коряки пили просто чудовищно, и мы из-за этого долго не могли продолжить наше путешествие.

А надо сказать, что там под Новый год выдают на всех жителей деревень, то есть буквально на всех – включая грудных детей, женщин и стариков, по бутылке водки, бутылке пива, далее следуют бутылки вина белого и вина красного, коньяк и шампанское. Каждому! Поэтому являются они к раздаче всей семьей, и грудничков несут (им тоже полагается).

Приходят и такие люди, которые там же, возле раздачи, – сделав глоток, валятся в сугроб. (Они же алкоголь не держат.)

По этой причине неделю после Нового года мы просто не могли двинуться дальше. Все до единого каюры были пьяные. Все время. Да что каюры – вся деревня, дети и старухи! Все!

Наконец, потеряв терпение, мы просто отняли у них ал-

коголь. И только тогда двинулись в путь...

Я шел последним с моим каюром...

Вообще, должен заранее поведать о некоторых суровых непреложных правилах, практически законах тундры. Во время зимних переходов никогда и никого не ждут. Причины просты: нарты мигом примерзают к насту. А собаки, остановившись, замерзнут, уснут – их уже не поднять. Они должны бежать и бежать...

Тундра рождает совершенно иные, отличные от наших понятия едва ли не обо всем. В зимней тундре самое главное – это собаки. Остальное как будто и не имеет значения. Если собаки легли, побили лапы, – ничем их уже не поднять, это верная смерть.

Причем и у самих собак есть свои правила. Если собака на...ет под полозья, ее загрызут насмерть свои же. Потому что экскременты сразу замерзают под полозьями. Если собака захотела по нужде, она просто ослабляет свой постромок, ее соседки чувствуют и видят, что она не тянет, и останавливаются. Она отходит в сторонку, справляет нужду – и побежали дальше.

Итак, Зорий был впереди, я замыкал колонну. Идем и идем...

И вот мой каюр, который ехал поначалу, бодро покрикивая на собак, «ввинтил» свою руку в рукав кухлянки¹ (он

¹ *Кухлянка* – карякская национальная одежда из меха (верхняя одежда с капюшоном).

сидел ко мне спиной, я этого не видел, но позже без труда восстановил картину происшедшего), вытянул припрятанную четвертинку, из горла всю ее выпил и... «умер». Просто выключился.

И все. Собаки встали, перестав слышать знакомый голос.

На моей нарте было меньше груза, но было и меньше собак. Мы потому и шли последними. Даже если бы мне удалось успешно заменить опытного каюра, догнать своих уже было сложно.

К счастью, вскоре вдали показалась двигавшаяся нам на встречу охотничья нарта. Каряк-охотник на крупной собачьей упряжке возвращался домой – в ту деревню, откуда мы выехали.

Когда он поравнялся со мной, я его остановил и попросил дать мне несколько своих собак.



Камчадалы возле нарт. 1970-е гг.

Он отвечает: «Не дам!» Я говорю: «Забери с собой вот этого своего односельчанина и дай хоть одну собаку! Мне надо догнать своих!» Он говорит: «Не дам».

У меня с собой был карабин «СКС» – давно замерзший так, что годился разве что на то, чтобы колоть оледеневшие буханки.

Но я навел на охотника это оружие (он же не знал, что это ничем ему не угрожает). Он очень недобро глянул на меня и говорит: «Бери».

А я-то не знаю, как собак привязывать! Я ему говорю: «Привяжи!» Указываю карабином.

Он привязал к моей нарте трех своих собак. Перевалил на свои сани «умершего» моего каюра...

Но едва он уселся на свое прежнее место, покопавшись под пологом, я ясно увидел его карабин, наведенный на меня...

Прикрикнув на собак, охотник уезжал ко мне лицом, держа меня на прицеле, а я стоял и, наведя свое бесполезное оружие на него, наблюдал, как он удаляется. Так мы и расстались. Как в вестерне...

Теперь началось самое главное. Собаки-то меня не знают, все они уже легли. Я начал их подымать – не тут-то было. Я просто умолял их подняться!.. Начал *войтовать* (видел уже, как это делается, когда переворачивается нарта, и полозя освобождаются от намерзшего снега). Короче говоря, часа полтора я постигал курс молодого каюра... Наконец мне удалось поднять собак.

Мы побежали. Еще одна важная деталь: во время езды на собачьей упряжке ты бежишь, потом садишься на нарту, снова бежишь, снова садишься, – чтоб собаки не уставали. Когда бежишь рядом, держишься за вертикальный так называемый *баран*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.